

Валерий  
ЕСЕНКОВ



Валерий Есенков

**Отпуск**

«Автор»

1985

## **Есенков В. Н.**

Отпуск / В. Н. Есенков — «Автор», 1985

«Иван Александрович, сорвав теплое пуховое одеяло, вскочил босыми ногами на жесткий коврик, брошенный возле дивана. Нужно было стаскивать измятую ночную сорочку, однако руки висели как плети, не повинаясь ему. Было холодно, неприятно нагретым под одеялом ногам, и он с отвращением думал о том, какую бездну невнятных, лишенных для него интереса бумаг предстоит с наивозможнейшей тщательностью прочесть, вместо того, чтобы с головой погрузиться в «Обломова»...»

## Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	13
Глава третья	25
Глава четвертая	27
Глава пятая	29
Глава шестая	33
Глава седьмая	45
Глава восьмая	48
Глава девятая	50
Глава десятая	56
Глава одиннадцатая	68
Глава двенадцатая	81
Глава тринадцатая	84
Глава четырнадцатая	97
Конец ознакомительного фрагмента.	98

# Валерий Есенков

## Отпуск

### Глава первая

### Вдохновение

В напряженном, встревоженном спокойствии ночи его внезапно громко позвали:  
– Вставай!

Иван Александрович так и выпучил пугливо глаза.

Сквозь неплотно задернутые шерстяные зеленые шторы на него угрожающими черными стеклами глядело окно. За этими черными стеклами не раздавалось ни звука, не блестело ни огонька.

Это не удивило его. Так было нужно: он сам себе с вечера приказал проснуться пораньше. Ему предстоял длинный, изнурительный день. Шел конец месяца – истинная пытка для несчастных редакторов и строгой цензуры. «Обломов» всё ещё не был написан, и не было ни малейшей возможности его написать.

Иван Александрович протяжно зевнул и попробовал потянуться – верный способ освободить деревянное тело от сна. В голове натужно кипело. Перед глазами плавали фиолетовые с желтым круги. В ушах звенело со свистом. Губы слипались. Тело было в поту.

Потянуться не удавалось. Тяжело набрякшие веки смыкались сами собой. Он то и дело проваливался в беспокойную удушливую дремоту.

Однако он знал, что пора. Если промедлить час, полчаса, пятнадцать минут, ему не дадут спокойно одеться, не дадут напиться наскоро чаю. В такие дни все мечутся как на пожаре, так что надо, надо вставать.

Он заставил себя приоткрыть правый глаз и почти с упреком взглянул на часы, но так и не разобрал ни стрелок, ни цифр, только серое шевелящееся пятно равнодушно и глухо отсчитывало убежавшее время.

Он вновь задремал и тупо слышал сквозь дрему, как входил к нему Федор, мягко ступая большими ногами, медленно шаркал старым веником у края ковра, неспешно вносил издававшие запах мороза дрова и старательно складывал тяжелые поленья одно за другим перед устьем камина.

Одно, должно быть, самое толстое, всё-таки вырвалось из его толстых пальцев, слабо стукнуло об пол, точно выстрел из пушки грохнул в упор.

Иван Александрович, сорвав теплое пуховое одеяло, вскочил босыми ногами на жесткий коврик, брошенный возле дивана. Нужно было стаскивать измятую ночную сорочку, однако руки висели как плети, не повинаясь ему. Было холодно, неприятно нагретым под одеялом ногам, и он с отвращением думал о том, какую бездну невнятных, лишенных для него интереса бумаг предстоит с наивозможнейшей тщательностью прочесть, вместо того, чтобы с головой погрузиться в «Обломова».

Разумеется, лучше было пока что не думать об этих ждавших его, давно осточертевших бумагах, и он, собравшись кое-как с духом, стянул с себя мягкое, словно к телу прилипшее полотно и комом уронил на постель. Печально взглянув на обширное грузное тело, он усилием воли заставил вялые руки кое-как сгибаться в локтях, проплелся мимо комнаты Федора, заваленной темным неразборчивым хламом, видимым через открытую дверь, принял холодную ванну, накинул широкий халат и сел в столовой возле круглого столика.

Ни гимнастика, ни даже холод воды не прогнали томления слишком короткого беспокойного сна. Ему необходима была хорошая, трехчасовая прогулка, а он дней уже пять, или шесть? Не выбирался из душного, казалось, прокислого дома. Голова продолжала гудеть, бес- сильное тело так и клонилось прилечь. Он и прилег, пользуясь тем, что столик был ещё пуст, тяжело привалившись к подушке дивана.

Тем временем Федор поочередно вносил и со стуком ставил на стол сперва белый, крупно нарезанный хлеб, затем бледное зимнее масло, затем подогретые сливки и крупно наколотый сахар, затем мутноватый, плохо чищенный самовар и встал наконец неподвижно, пригнув кудлатую голову, спрятав за спиной пудовые кулаки.

Что ж, надо было приниматься за жизнь. Иван Александрович кое-как сел, придвинул высокую чашку и подумал лениво:

«Ну, как нынче, Федор...»

Выбрав большой угловатый кусок желтоватого сахара, опустив его аккуратно на дно, нацедев кипятку, он равнодушно спросил:

– Там от ужина сыр оставался, подай.

Эту простую игру они вели почти каждое утро. Уже несколько лет всё дальнейшее он знал наизусть, то есть как взглянет, что сделает и что скажет его громадный невозмутимый медведь, как твердо знал то, что произойдет с ним сегодня, завтра и послезавтра и, пожалуй, что с ним будет всегда. В этом однообразии скромной будничной жизни его чуткая мысль уже не за что не могла зацепиться. Одно и то же, одно и то же, хоть криком кричи, хоть волком завой.

Федор невозмутимо ответил:

– Счас.

И, ступая медведем, не спеша двинул свое могучее тело в буфет.

Провожая Федора всё ещё заspanным взглядом, Иван Александрович как милости тайно просил, чтобы хоть нынче этот неповоротливый дюжий мужик миновал обыкновенные двери как все нормальные люди или уж вышиб эту белую створку совсем, однако косолапо качавшийся Федор лишь ударил крутым плечом о косяк и минуту спустя наотмашь грохнул стеклянной дверцей буфетного шкафа, как грохал исправно во время всех завтраков, обедов и ужинов, если он обедал и ужинал дома.

Вяло слушая слишком привычные звуки, он ждал привычного продолжения, доверху наполнив чайную чашку черной заваркой, помешивая серебряной ложечкой сахар, нехотя пробегаая одними глазами газеты, которые Федор каждое утро складывал в просторное кресло, приставленное, словно только за этим, боком к дивану. Газеты пахли надоедно, противно. Он читал одни заголовки и лишь время от времени взглядывал в текст, но не обнаруживал и там ничего интересного для себя. Всё в этой жизни тянулось своим утомительным чередом. В буфетной тревожно звенела посуда.

Иван Александрович с безучастным видом бросил газеты и попробовал с ложечки чай. Чай ещё не остыл. В невысоком узорчатом самоваре глухо урчал кипяток, Было томительно сидеть одному в немой тишине едва наступившего утра. Он не умел сидеть сложа руки и всегда страдал от безделья, а жизнь точно утекла от него, все чувства, все мысли точно умерли в нем. Оставалось жить лишь сознание долга, который необходимо исполнить, а долг был мучением для него, и он не без тайного удовольствия томился без дела, все-таки хоть немного отодвигая исполнение этой неизбежной доуки казенных бумаг.

Федор вошел наконец, двинув со всего маху плечом, и произнес с удивлением, с детской наивностью, написанной на деревенском круглом курносом лице:

– Сыру там нет-с.

Он встрепенулся, с невольным любопытством спросил, давно зная ответ:

– Где же он?

Толстые губы Федора по-детски припухли, добродушные серые глазки оставались искренне чисты, как поверхность тихого сельского озера. Лишь небольшая заминка в привычных словах вдруг приоткрыла смущение:

– Я... употребил-с...

Заминка его удивила. Он обрадовался. Он попросил:

– Тогда принеси-ка печенья.

Федор вновь едва не застрял плечами в просторных дверях и старательно загремел дверцами шкафа.

Ожидая второго явления, наперед зная, каким будет оно, Иван Александрович неторопливо думал о том, каким странным, необъяснимым путем человек приходит порой к самым простым и незыблемым истинам.

Когда-то давно, может быть, в тот самый день, когда учитель сказал, что если ехать от какой-нибудь точки без остановки вперед и вперед, то непременно воротишься к той же точке с другой стороны, ему захотелось поехать с правого берега Волги, на котором родился, и с левого воротиться назад, захотелось туда, где учитель пальцем указал тропики, экватор и полюса. Всё представлялось загадочным, фантастически великолепным в волшебной дали: счастливицы ходили и возвращались с заманчивой, но глухой повестью о чудесах, с детским толкованием тайн далекого мира. Затем явился человек, мудрец и поэт, и озарил таинственные углы и пошел туда с компасом, заступом, кистью и циркулем, с сердцем, полным веры в Творца и любви к Его мирозданию, и внес жизнь, внес разум и опыт в каменные пустыни, в глухие леса, и силой светлого разума указал путь тысячам за собой, маня и его по пути Ванкуверов, Крузенштернов и Куков, в сравнении с которыми ему представлялись детьми герои Гомера, все эти Ахиллесы, Аяксы и даже сам Геркулес. А космос? Ещё мучительней хотелось своими глазами взглянуть на него, мечталось подать свою руку какому-то мудрецу, которого стал бы внимательно слушать, как малый ребенок слушает взрослых, и, если бы понял толкования мудреца хотя бы настолько, насколько понимал толкования крестного, был бы несметно богат и этим поневоле ограниченным разумением. Нет, не в Париж мечталось ему, не в Лондон, не в Рим, а в Бразилию, в Индию, хотелось туда, где из голого камня вызывает жизнь палящее солнце и тут же рядом превращает в камень, чего ни коснется тем же лучом, где человек, как праотец наш, рвет несеянный плод, где рыщет лев, пресмыкается змей, где царствует вечное лето, туда, в светлые чертоги чудного Божьего мира, где природа, как баядера, дышит изнеженным сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием и где глаза не устанут смотреть.

Спустя много лет он увидел всё это, даже больше того, что представляла пылкая, но неискушенная фантазия десятилетнего мальчика.

И что же?

Только увидев всё это, он понял, что разумение, толкование жизни зависит не столько от предметов, доступных нашему наблюдению, сколько от самого наблюдателя, и порой обыкновенный петербургский слуга или такой же обыкновенный петербургский приятель, изученный до того, что давно надоел, разуму открыть могут больше, чем странствие по всем материкам и морям.

Он стал оттаивать, неторопливо размышляя о тайнах жизни, о превратностях знания. В пробуждавшейся голове шевельнулась какая-то новая мысль. Несокрушимое постоянство неуклюжего Федора вдруг напомнило кого-то другого, однако лишь слабая тень скользнула в усталой душе, вызвав наружу застарелую боль: он убедился давно, что не стоит думать о том, которого тотчас узнал, поскольку счастье для него уже невозможно, да и заслужил ли он счастье свое?

А мысль беспокойно, привычно продолжала плестись. Обычно он ел по возможности мало, страшась окончательно растолстеть. Большая половина довольно легкого ужина все-

гда оставалась нетронутой. Федор же был плотным мужчиной с сытым румянцем на круглых щеках, но съедал всё, что ни попадало ему, может быть, от городского безделья, может быть, по крестьянской привычке всё тащить с чужого стола.

Его поражала эта сила привычки, независимо оттого, была ли привычка добродетельной или дурной. Дело тут для него было в том, что привычка становилась ненужной, поскольку он давал Федору явно больше того, что необходимо самому сильному человеку, занятому, скажем, в каменоломне, и, разумеется, никогда его не бранил за его чудовищный аппетит.

Рот его тронулся добродушной улыбкой. Ощувив её на лице, он покачал головой, улыбнулся шире и взялся за чай, уверенный в том, что придется обойтись без печенья.

Что скрывать, он ненавидел эту окостенелую неповоротливость будней. Уж лучше бы Федор оставил его совершенно голодным, без хлеба и масла, даже без чая. В этом была бы долгожданная новизна, была бы пища для мысли, а – неподвижность, закаменелость привычного, не затрагивая сознания, неприметно отбивала желание жить, может быть, непоправимо разрушая его.

Ему нужна была легкая бодрость непрерывного умственного труда. Тайно от всех он с нетерпением ожидал, что вспыхнут наконец, загорятся гигантские мысли, от которых бы всё озарилось и закипело вокруг. Он так же тайно и так же нетерпеливо искал богатырского дела, способного перестроить весь мир. Он чувствовал, ещё более тайно, что способен и на богатырское дело и на гигантскую мысль, тогда как неповоротливость будничной жизни душила исподволь, исподтишка своим – упрямым однообразием, знакомыми до слез мелочами и, как следствием, немилосердной хандрой. Вот на что она растрчивал жизнь.

Федор не появлялся. Всё стало ясно. Пропала надежда, исчезла самая слабая тень возможного счастья мыслить и жить. Душа его приуныла. Мысли точно вымерли в голове. Хлеб был съеден. Выпит был чай. Настала пора приниматься за исполнение унылого долга, а не хотелось приниматься и что бы то и было исполнять, хотелось помедлить, поразвлечься ещё.

Он поднялся, сбросил халат, навевающий лень, и оделся так тщательно, точно предстояло делать визиты: домашние, но элегантные брюки, безукоризненная рубашка, безукоризненный галстук, поношенный, но всё ещё модный сюртук.

На этот счет у него тоже имелась теория. Он был убежден, что во всяком порядочном человеке гармонически, тесно сплетаются наружное с внутренним, то есть умение нравственно жить. Разумеется, первую роль в таком человеке играет его духовная сторона, а наружная служит только помощницей или, лучше сказать, подходящей формой для первой. Так называемый человек хорошего тона усваивает себе изящные манеры, но лишь как верный признак благородного воспитания, как средство и право принадлежать к хорошему, то есть модному обществу, тогда как в порядочном человеке хороший тон и манеры проистекают не машинально только из одного воспитания, из обычая или привычки, вместе из внутренней, духовной потребности быть изящным во всем. Порядочный человек не грубит никому, не делает сцен, не оскорбляет презрительными или наглыми взорами не потому только, что это угловато и резко, но главным образом потому, что это несправедливо и неразумно. Потому-то порядочный человек всегда непременно и человек хорошего тона, тогда как человек хорошего тона не всегда порядочный человек. Такой человек иногда может быть даже львом, однако же чисто случайно, по личному вкусу, по занятиям или образу жизни, точно так же, как может быть, тоже случайно, не довольно внимателен к этой внешней стороне умения жить, может не ловить моды, не следить за всеми капризами и прихотями её, однако обязан покоряться её общим и главным законам, в известной, разумеется, мере, настолько, чтобы не оказаться слишком резким явлением, чтобы не нарушать условий и форм, принятых обществом, в противном случае такой человек должен будет сложить с себя громкий титул человека порядочного и останется только добрым, честным, благородным и справедливым, то есть человеком просто хорошим. Тут, следовательно, форма играет хотя и второстепенную, однако необходимую роль.

Лично для него эта внешняя форма была очень важна, поскольку не позволяла ему закинуть и опуститься в его мелкой скучной обыденной жизни, которой он жил много лет, это были доспехи его, в которых он становился неуязвим для неповоротливых бедней.

Он был совершенно готов, но позволил себе помедлить ещё минут пять, снял с полки книгу, раскрыл её наугад, надеясь наткнуться на что-нибудь незнакомое, непонятное, спорное, от чего встрепенется дремлющий разум и подарит хоть чуточку подлинной жизни, и спокойно прочитал про себя:

«Вряд ли де можно найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, нет, он служил с любовью...»

Иван Александрович улыбнулся с легкой насмешливой грустью, громко захлопнул любимую книгу и без запинки продолжал наизусть:

«Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выразилось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники...»

Изумительные, верные, читанно-перечитанные слова, однако же вдруг от этих слов что-то глухо, жалобно простонало в душе. Поморщась, не желая разбирать и копать, какие там ещё стоны, по опыту зная, что все эти стоны и вопли души не приводят к добру, он сердито сунул книгу на прежнее место, тотчас попав в довольно тесное гнездо между другими томами, раскурил поспешно сигару и воротился к столу.

Блестяще, неподражаемо писал Николай Васильевич Гоголь, и было бы несмолкаемым счастьем неторопливо, размеренно, наивно, ежедневно писать подобно ему, бесстрашно решившись зарыться в убогую нищету и в долги, иметь которые не позволены порядочным людям... но... если бы вдруг родиться Башмачкиным, от одних буковок получать наслаждение, отбывать постылую службу с ревностной страстью...

Тут Федор две сиротливые печенинки внес на кофейном желтеньком блюдце, бережно держа его на широкой ладони толстой руки.

Вот, справедливо он всегда говорит, что судьба большей частью препятствует нашим намерениям, поделом, не пристало заноситься в мечтаниях, даже если мечтаешь превратиться в Башмачкина.

Осмеявши себя таким образом, Иван Александрович вспомнил, зачем посылал Федора в буфетную комнату, и не поверил глазам, уставившись на него с изумлением, пристально наблюдая исподтишка, как простоудушно лоснились жирные щеки и не тронутое трудами мысли лицо расплывалось в конфузливую улыбку, слушая запинаящийся голос:

– Вот-с... вы просили... печенье-с...

Высоко подняв брови, разыгрывая суровость, он строго спросил:

– А где остальное?

Федор беспомощно и с упреком глядел на него, открыв большой рот, и он продолжал ещё строже, уже весело улыбаясь в душе:

– Вчера оставался целый поднос.

Федор внятно ответил, не потупясь, как следовало, не отводя даже глаз, точно право имел:

– Употребил-с.

Он вдруг засмеялся, открыто и звонко, и сквозь смех приказал:

– Ступай, Федор, ступай.

Эта ничтожная малость, эта песчинка неповоротливых будней внезапно упала не так, как с невозмутимостью закона природы падала прежде годы подряд, и в нем тотчас вспыхнуло что-

то, перед ним явился сгорбленный лысый старик, почти такой же осязаемый, как и Федор, в один из приступов счастливого вдохновения что-то уж очень давно придуманный им.

Он разглядывал старика, позабыв о сигаре.

Вот он, всё тот же. Глубокие морщины и складки старческого лица уходили в спутанные, седые уже бакенбарды. Однако так показалось только в первый момент. Иван Александрович не поверил себе. Он смотрел, смотрел изучая, и, в самом деле, что-то словно бы сдвинулось в согбенном старике, песчинки смешались и в нем и легли по-другому.

Сигара мирно дымила тонкой струей в кстати подвернувшейся пепельнице, вода медленно вытекала из самовара, переливаясь через край подставленной чашки, медленно, как половодье, наполняя поднос.

Он вздрогнул, мимоходом приметив нетерпимый им беспорядок, поспешно повернул ручку крана и забылся опять.

Старик угрюмо стоял перед ним, ошетинясь в его сторону одной бакенбардой, не сводя с него злобного взгляда. Что-то новое, непредвиденное проглянуло вдруг в старике, особенно в этом нахмуренном пристальном взгляде мутных выцветших глаз, это что-то не укладывалось в сознании, мешало и увлекало его.

Он по долгой привычке протянул руку к сигаре, машинально отыскивая её, где бы она ни лежала, с недоумением взглянул на неё, затаился жадно и глубоко, торопясь беспокойно понять, что, ну что же, что именно переменялось в старом неинтересном лакее, которого лет десять назад почти не задумываясь начал писать беспробудным лентяем, которого без особого сожаления и забросил потом, решительно не довольный его однообразным, его прямолинейным, его прямо-таки скудным характером, с очень простыми, уж слишком понятными свойствами. Он смутно предчувствовал, должно быть, давно, что этот поседевший на службе старик значительней, противоречивей и, стало быть, глубже, как противоречиво, значительно всё сущее на земле, однако не угадывал многие годы, где именно затаилась эта сложность и глубина.

Он хотел было крикнуть, чтобы Федор убирал со стола, но вдруг промолчал, зачарованно уставясь перед собой, на узоры ковра, где только что угрюмый старик прохрипел, укоризненно ёжа глаза:

– Уж коли я ничего не делаю... стараюсь, жизни не жалею! И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день...

Это была долгожданная речь, особенно эти укоризненные глаза, как же он не понял этого раньше?

Едва разглядев эти съезженные глаза, едва расслышав этот невнятно-далекий обиженный голос, он всполошился, вскочил и пустился бегом в кабинет, что порядочному человеку, облаченному в строгий галстук, в строгий сюртук, делать совсем не пристало.

Он всё же подумал об этом и даже успел улыбнуться своей иронической мысли о порядочном человеке, однако старик на бегу становился всё отчетливей, всё понятней, живей, а худая морщинистая рука старика возмущенно указывала на середину того дня подметенного пола:

– Вон, вон, всё подметено, прибрано, словно на свадьбе... Чего ещё?..

Иван Александрович с силой рванул дверцу шкафчика, в котором хранились потертые папки старых, незаконченных, как он был убежден, неудачных набросков, одним движением выхватил какие-то три, перебрал трясущимися руками, оставил нужную, ту, пробежал глазами страницу, читая разом по нескольку строк, с досадой на них пропуская куски, не идущие к делу, отыскал приблизительно подходившее место, там будет видно, бог с ним, сунулся в кресло, на широких полях торопливо поставил значок, схватил обрывок листа, одним взмахом властной руки сдвинул в сторону чужие бумаги, которые с вечера молчаливо, упорно ждали его, и обмакнул в чернила перо.

Как не увидеть! Как не догадаться во столько-то лет!

Захар не только бесценен, не только ленив, вовсе нет! Это всё пустяки. Этого кто не приметит, разве слепой! Захар к тому же невозмутим, как простоватый бессовестный Федор, как вся наша русская бестолково бредущая жизнь!

Ага! Он только подумал об этом, как перед ним явились оба героя, их ленивая перебранка явственно зазвучала в ушах.

Только скорее, скорей, пока не забылось! Через миг вся картина может пропасть без следа!

Он с радостью набросился на бумагу, в суматохе кое-как выводя:

«– А это что? – прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. – А это? А это? – Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба.

– Ну, это, пожалуй, уберу, – сказал Захар, снисходительно взяв тарелку...»

Именно, именно, снисходительно, не покорно, не лениво, не иначе как-нибудь, по-другому просто нельзя! Какой невиданный может теперь получиться характер! Какие можно ещё открыть в нем удивительные, ничем не замеченные черты! Главное, главное: сдвинулось и пошло! Теперь начнет открываться, только поспевай да лови...

Колокольчик негодуя закатился в передней.

Старая истина: не только судьба, часто люди бывают неумолимей и хуже самой черной судьбы. Иван Александрович знал, что попался, что его время нынче прошло, однако размахнувшееся перо побежало быстрее, оставляя вместо букв какие-то закорючки, точно хоть этим бешеным бегом ожившего внезапно пера он мог обмануть и того, кто настойчиво, длинно призывал от дверей, и, что смешнее, обмануть и себя:

«– Только это! А пыль по стенам, а паутина!

– Это я к Святой неделе убираю: тогда образа чищу и паутину снимаю...»

Неповоротливый Федор наконец отворил-таки дверь, и за спиной настойчиво рокотал нахолодавший, осипший с улицы голос, а он торопливо выспрашивал капризным тоном огорошенного Ильи Ильича, почти не отрывая от бумаги пера в промежутках между словами:

«– А книги, картины обмести?...»

И утреннее свежее певучее безотказное воображение, жадно подвижное, сочно плывшее, легкое, уже выхватывало из памяти так свежо, точно было вчера, недолгого слугу его, долгоязого, тощего, рыжего, с когда-то разбитой, плохо зажившей губой, как будто Петра, который, отслужив свой договоренный день, ночью запирает его тайно на ключ и уходит куда-то в карты играть и мертвецки пить до утра. И уже ненароком примешивались к снисходительному Захару новые и новые свойства, черточки, взгляды, слова. И уже остановиться было нельзя:

«– Книги и картины перед Рождеством: тогда мы с Анисьей все шкапы переберем. Теперь когда станешь перебирать? Вы всё дома сидите.

– Я иногда в театр хожу да в гости: вот бы...

– Что за уборка ночью...»

Голова, склоненная над исписанным наполовину клочком, внезапно сделалась ясной и быстрой. В ней стремительно мчались сильные, свежие мысли, каких не являлось давно, так давно, что он позабыл, когда это было, погруженный в хандру и в утомительный труд. Заклокотала, забила энергия бодрой, воскресшей, родящей души, было заглохшая в нем, истощенная принуждением служебного долга, настоятельно требуя той размашистой, богатырской работы, по которой он тосковал в своих мелких вседневных трудах. Старый, оставленный было сюжет, невзначай наскочив на крохотную, скользнувшую своевольно песчинку, развивался поновому, богатея, ширясь у него на глазах. Уже представлялось осмелевшему, точно улыбнувшемуся уму, как бесцеремонный Захар, спрыгнув с лежанки тишком, выходил на цыпочках в

сени, запирал уснувшего барина на замок и отправлялся к воротам поболтать о том да о сем, впрочем, пока что неизвестно о чем.

Пожалуй, это и была бы последняя глава первой части «Обломова»! Два-три часа такого порыва энергии – и можно бы было закончить первую часть! Наконец к нему пришло вдохновение! Боже мой, ничего и не надо бы больше!

Федор втиснулся в кабинет, загудел:

– Там... из типографии... бранятся.

Он в бешенстве обернулся и взвизгнул:

– Пусть ждут!

Федор попятился от него, и кто-то отшатнулся у Федора за спиной, а он стальными пальцами стиснул перо, как кинжал, да вдруг очнулся и тихо положил безвредную деревяшку на почернелый чернильный прибор.

Большая половина стола была завалена срочными корректурами. Если отвлечься и задержаться, ежемесячные журналы не появятся в установленный срок, нетерпеливые подписчики возмутятся, раздраженные издатели потерпят кое-какие убытки, разгневанное начальство с удовольствием сделает выговор, на то оно и начальство у нас.

А вдохновение, что ж, по боку вдохновение, даже если больше оно никогда не вернется к нему.

Гнев оставил его, Захар провалился сквозь землю. Он был готов исполнить свой долг. Только при мысли об этом в нем обмерло сё и застыло да потемнело лицо.

Аккуратно вложил он в раскрытую папку наполовину исписанный, неровно оборванный клочок, своим свежим видом выделявшийся в куче других, в разной степени пожелтевших клочков и листков, затянул двумя бантиками тесемки, вернул папку на прежнее место, рядом с другими, которые тоже дожидались годами, когда наконец он возьмется за них, и бережно, боязливо запер шкафчик на ключ.

Однако не мог он в ту же минуту перейти к корректурам, как ни привык исполнять терпеливо, безоговорочно долг. Его теснила тоска по огромному замыслу. Он попробовал утешить себя одной из своих философских сентенций:

«Так устроена жизнь, она не щадит никого. Если нет в ней крупной беды, она язвит почти неприметно иголками. От этого никуда не уйдешь. Слава Богу, если только иголки. Надо покоряться судьбе...»

Согласно покивав головой, кое-как успокоенный своим благомысленным рассуждением, как бы плачущий ребенок был успокоен конфеткой, он закурил, затянулся несколько раз, с деловитой сноровкой развернул первый объемистый сверток, присвистнул, ощутив в руке его тяжесть, и неторопливо начал читать.

Но не понимал ничего. Он всё ещё брел, точно призрак, между разумным, осмысленным миром своей пробужденной фантазии и тусклой действительностью, давно утомившей его. У хорошей сигары долго не слышалось вкуса. Какие-то медленно угасавшие тени беспокойно толклись и топтались в неохотно замиравшем мозгу.

Призраки, тени... Никаких призраков он не любил, да и какой же он призрак с таким брюхом?

Эта штука ему помогла. Сигара, как и положено, сделалась горьковатой. Он погрузился в несвой корректуры, точно провалился в болото.

## Глава вторая

### Служить на диване

Шесть изданий было у него на руках: «Пантеон», крикливая «Мода», «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений», «Журнал министерства внутренних дел», «Вестник императорского русского географического общества», а также любопытный «Журнал коннозаводства и охоты». С декабря ему прибавили «Отечественные записки». Стало их семь, а с истинным удовольствием читал он только один.

Все шесть, то путая значение слов, то небрежно затирая хорошее русское слово, то как попало ставя немецкие и английские термины, не понятные рядовому читателю, из месяца в месяц жевали давно избитые, прогорклые, скудные мысли. Порой он с трудом добирался до смысла, затем с привычной дотошностью выверял сухие периоды, каждое слово и каждую запятую на сотнях и сотнях убористо набранных корректур. В течение года на него сваливалось десять тысяч рукописных и тысяча печатных листов, по тридцать одних и по три других каждый день, однако почти вся работа неизменно приходилась на середину и окончание месяца, сначала рукопись, потом готовый набор, и он тот же текст прочитывал по три, по четыре, а бывало и пять раз, таким образом не менее тысячи рукописных и сотни печатных листов осаждали его в течение десяти-двенадцати дней.

Он дорабатывался до одурения и неделю, полторы, даже две болезненно, в унынии и хандре, возвращался в себя, а корректуры и рукописи целыми грудями вновь нарастали на рабочем столе, властно требуя от него нервов и нового напряжения, безжалостно вытесняя всё то, что он заботливо прятал в шкафу. Почти вся энергия мозга истощалась на этот периодический вздор, творчеству оставались объедки, несколько жалких, обглоданных крох.

Десять лет тянул он «Обломова» и не дотянул до конца даже первую часть.

Десять лет... целых десять...

Иногда он перебирал эти годы по пальцам: один год, два года, три года, четыре года, пять лет, шесть лет, семь лет, восемь лет, девять лет, десять лет...

Он сердито выверил бесцветные статьи вконец захиревшего «Пантеона», когда рявкнул ненавистный звонок и человек от Краевского подал ему аккуратнейшим образом запечатанное письмо. Редактор «Отечественных записок» убористо, мелко писал на желтоватой шершавой бумаге:

«Милостивый государь Иван Александрович, покорнейше благодарю Вас за то, что последнюю статью прочли Вы с должным вниманием и сделали мало вымарок, но духовная цензура её запретила. Я нахожусь вынужденным заменить её другою. Вы очень изволили бы меня обязать, если бы просмотрели её наискорейшим образом и не замедлили присылкой, чтобы типография успела с набором. С истинным почтением имею быть Вашим покорнейшим слугой».

Дремавший в передней рассыльный унес под мышкой цензурный экземпляр «пантеона», и он тут же не оборачиваясь спросил у Федора кофе, отодвинул другую работу, которая могла подождать ещё час или два, и взялся со всем должным вниманием неспешно читать запасную статью для «Отечественных записок».

Успокоившись наконец, приходя понемногу в себя после вдохновения нескольких строк, позабыв про Илью и Захара, читая, как велит долг, всё обдуманней, всё холодней, он подходил уже к середине статьи, когда Федор с громом поставил дымившую чашку и бережно развернул перед ним разграфленный измятый листок с колонками кривых, похожих на длинные кляксы прихотливо изогнутых цифр:

– Вот, Иван Александрович, счет-с.

Он бормотнул торопливо в ответ:

– Хорошо, хорошо.

Он с трудом разбирает какой-то вызывающий, точно дразнящий, неразборчивый почерк, маленькими глотками отпивает густой черный кофе, перебирает страницы, уже перемешанные на широком рабочем столе и без всякого умысла куда-то смахнул ненужный листок, над которым вдоволь бы посмеялся, будь у него для развлечений, даже невинных, свободное время.

Прошло минут десять, и Федор, безропотно, не издавая ни звука стоявший у него за спиной, подсунил этот продукт своего прилежания под самую руку и укоризненно объяснил густым рокошующим басом, дьякону впору, честное слово:

– Без счета нельзя-с, оборони Господь.

Он вскрикнул от неожиданности с перекосившимся от испуга и возмущения лицом:

– Сколько раз...

Он свирепо скомкал листок:

– ... я тебе говорил...

Он в ярости разорвал злополучный листок на клочки и, раскрывая ладонь, подбросил их вверх и выдохнул, глядя, как они серыми хлопьями падали вниз:

– ... чтобы ты не совался ко мне с этим вздором!

Федор долго глядел на него свысока угрюмыми голубыми глазами, потом неодобрительно покачал растрепанной большой головой, вздохнул тяжело, подобрал, кряхтя и что-то ворча, обрывки своего добросовестного хозяйственного отчета, зажал крепко в кулак и с оскорбленным видом вышел за дверь, с размаху саданув железным плечом о косяк, непримиримо, чуть ли не грозно что-то бормоча себе под нос.

Он с досадой бросил перо. Он убеждался не раз и не два, что с этой минуты не здоровый и потому справедливый рассудок, а своенравное раздражение проведет пером цензора по беззащитным словам, в раздражении долго ли до греха.

Он потянулся, поднялся, принялся порывисто, быстро шагать, чтобы движением развлечь и успокоить себя, раздражаясь ещё больше из-за того, что понапрасну теряет бесценное время и причиной тому, черт её побери, дотошная – честность его большого болвана, ведь всякий другой сто раз бы украл и он бы был этому рад, лишь бы не совались к нему, вот после этого и угоди человеку.

День что-то хмурился в невысокие узковатые окна. Деревянная лопата мерно шаркала на дворе. Раздавались визгливые женские голоса. Озябшая ворона пролетела куда-то.

Сё сердило, всё раздражало, всё мешало ему, даже ворона вызвала до того непонятную злость, что он готов был поверить себе, что та нарочно пролетела у него под окном, чтобы ему досадить.

Разумеется, нервы, а не ворона, виноваты во всем, это разум так говорит, а вот справься-ка поди с ощущениями, когда они свое да свое.

А тут ещё Федор, набычась, что-то уж слишком укоризненно сверля его одним глазом, протиснулся вновь в просторную дверь и протянул громадную, как лопата, ладонь, на которой светлой росинкой блеснул ещё не затертый двугривенный, и угрюмо провозгласил:

– Вот, Иван Александрович, лишек. Прошедший раз писано у меня ошибкой за булки. Так уж извольте принять.

Разум и успел улыбнуться на эту прелестную честность единственного в своем роде слуги, однако нервы-то, нервы, от неожиданности так и завыли, он вскинул сжатые кулаки, запрыгал, затопал и завизжал:

– Да убирайся ты, уби-ра-а-ай-ся ко всем чертям!

Федор попятился, крестясь и утробно урча:

– Грехи, прости Господи, ну и грехи...

Урчание привело его в чувство. В душе глухо, отчаянно охнуло:

«Боже мой! Господи! Прости меня, прости дурака!»

Разум холодно указал на непристойность, недопустимость поступка, и таким стыдом загорелась душа, что он должен был, он был прямо обязан без промедления к оскорбленному Федору пойти извиниться, но его останавливал глухой страх перед новой нелепостью, которую в таком раздереганном, взбудораженном состоянии он мог бы ещё совершить, бывали примеры, и память тотчас услужливо напомнила их, отрезвляя его новым стыдом.

Бегая взад и вперед, стискивая за спиной дрожащие руки, он клял себя и бранил, что деликатность не позволяла ему строго-настрою запретить этому упрямому прямодушному деревенскому увальню появляться в его кабинете без вызова. Он, как последний дурак, уважал, изволите видеть, свободу всякой личности без разбору, даже личность слуги, то есть особенно личность слуги, поскольку слуга унижен и без того своим зависимым положением.

Посыльный Краевского, теребя мохнатую шапку в руках, нерешительно взывал от дверей:

– Ваше превосходительство...

Он виновато сказал, обернувшись к нему:

– Да, да... Погоди...

Какую обязанность он возложил на себя сам перед обществом, которое следит за успехами отечественной литературы пристальней, чем за всеми другими успехами!

И заставил себя воротиться к столу и неторопливо читать, перечитывая для верности по нескольку раз, и добросовестно взвешивать каждое слово, перед тем как спустить на него весильный свой карандаш.

Он снова был исполнительным, безупречным чиновником, не больше того. Глаза его покраснели, веки припухли. Времена всё застилал белесый туман. С годами эта напасть повторялась всё чаще, пугая его, что от непрерывного напряженного чтения малоразборчивых рукописей и полуслепых корректур он когда-нибудь ослепнет совсем.

Отпустив посыльного, поклонившегося ему чуть не в пояс, он старательно промыл больные глаза, осторожно касаясь, теплым чаем, поправил в камне и сел, вытянув ноги к огню. Невысокое пламя вспыхнуло и приласкало легким теплом. Хотелось уснуть ненадолго и хоть во сне забыть обо всем. Тоже, придумал обязанность перед обществом, которое следит за успехами отечественной литературы! Да ни за чем оно не следит, только делает вид и дремлет себе на боку, как дремало и сто лет назад, и ещё до Петра, как дремлет на диване Илья.

Но странно, он вдруг позавидовал презренному своему лежебоке, которого никак не мог досочинить до конца, и засмеялся негромко, не представляя себя на покойном широком диване, в измятом татарском халате, с глупейшими вздохами о новой квартире, с этой бессвязной мечтой неизвестно о чем.

Чему же завидовать?

И позавидовал вновь.

Он так и округлил от удивления рот и озадаченно поскреб подбородок. Не убранная утром щетина тонко царапнула кончики пальцев. Он подумал, одним быстрым взмахом, скользнув мимоходом, что это, пожалуй, сойдет, потому что уже всё равно он едва ли сможет выбраться нынче из дома, хотя неопрятность, неряшливость, в особенности эта забывчивость были ему отвратительны, но на мгновение отдыха освобожденная мысль, как ни странно, вновь зашепила другим чередом.

Он не так прост, его печально-бестолковый Илья, совсем не так прост, как не прост проглянулся Захар... Ну, разумеется, лежит и киснет и губит понапрасну себя, это понятно с первого взгляда, как было понятно ему, когда он задумал его, однако в действительной жизни бывает не так... В этой скучной, однообразной, прозаической жизни... То есть бывает как будто и так, а вроде бы вовсе иначе...

Вот он же совсем не дремал...

И с бессильной яростью припомнил прошедшие годы. С несчастным Ильей они в одно время приехали в город, университетский диплом, три живых языка, глубокие сведения из родной и всех европейских литератур, а место досталось в департаменте внешней торговли, где превыше всех эстетик, литератур и даже живых языков почиталось умение красиво, четко, без помарок и быстро переписывать отношения, в каком году было принято то-то и то-то, а в каком году то-то и то-то было отменено.

С десяти до трех, до четырех, до пяти и шести, если грозно прикрикнет перепуганное или разгневанное начальство, они оба усердно перелопачивали бездны бумаг, без усталости рылись в старых и новых делах, которых с годами накапливалось больше и больше, то и дело извлекали заплесневелые архивы, добросовестно соображали не касавшиеся до них обстоятельства, миллионами пересчитывали чужой капитал, согласно приказу придумывали то уклончивые, то лживые справки, в поте лица своего отмахивали длиннейшие выписки, до отказа наполняя обширнейшие тетради с грозными грифами «нужное», «весьма нужное», «очень нужное», которые исчезали бесследно у молчаливо-сосредоточенных правителей дел, после чего им с Ильей выдавались новые обширнейшие тетради, с теми же грозными грифами, с той же спешкой и пустотой.

Они оба чуждались этой бессмыслицы. Ум, беспокойно-пытливый у того и другого, доискивался с алчной тоской непременно великих, даже величайших идей, возвышенная душа непременно жаждала знаменитого поприща, где бы оба могли во всю ширь, во весь мах развернуть свои недюжинные силы, напрягая в грандиозном деянии эти недюжинные силы до самых последних пределов, а долгими зимними вечерами грезили о неведомых странах, о подвигах морских путешественников, о славе открытий...

Что говорить, славны, благородны, возвышенны были мечты... Однако вперед ушел только один. Другой по своей доброй воле бросил переливание из пустого в порожнее, подал в отставку и остался лежать на просторном диване... И вот они оба, разумеется оба... несчастны...

Потревоженные поленья разгорелись привольно и весело. Стало больно глядеть на огонь. На глаза навернулись скупые, невольные слезы. Иван Александрович прикрыл их твердой рукой, защитив от палящего жара, но две соленые капли скользнули по нагретым щекам, освежая своим холодком, и он отодвинулся от огня, чтобы не раздражать больные глаза понапрасну, и вдруг расслышал тоскующий голос:

– Ты сказал давеча, что у меня лицо не совсем свежо, измято... да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а оттого, что двенадцать лет во мне был заперт огонь, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас. Итак, двенадцать лет, милый мой, прошло, не хотелось уж мне просыпаться больше...

Вот оно что!

Он отнял руку от затуманенных глаз и прямо взглянул на яркий огонь, не страшась его острого жара.

Это правда, святая и горькая правда. Свет заперт в нем, свет бьется, трепещет, чадит, но свету души уже нет настоящего выхода, и вечно, должно быть, станет тот свет жечь понапрасну толстые стены житейской тюрьмы, пока наконец не разрушит его самого унылой апатией, несносной тоской, пока он не погибнет вместе с тюрьмой, то есть пока вместе с ним не погибнет, в одно время с его опустелой, без смысла протавившейся жизнью, так и не долетев до людей, которым был должен светить...

Он стиснул зубы, но тут же иронически усмехнулся, приподняв углы рта, и другой голос насмешливо справился у него:

– Зачем же не вырвался ты, куда-нибудь не бежал, не важно куда, лишь бы спасти себя и свой свет и светить? Зачем молча гибнешь, стыдливо затаившись от всех?

Это был давний, трезвый, неотразимый вопрос. Десять, двадцать, тысячу раз выпрашивал он пристрастно себя, где же то разумное место, куда бы мог он бежать, чтобы свету души отыскался простой, естественный выход светить. И десять, и двадцать, и тысячу раз он не находил убедительного, прямого ответа. И с болью отчаянья выдохнул первый, тоскующий голос:

– Куда бежать мне, куда?

И он, подняв голову, очень тихо повторил сам себе:

– Да, в самом деле, куда?..

В утробе камина оставалась невысокая горка слабо рдевших, мерцавших углей. Две короткие черные головешки, медленно догорая, вспыхивали последними беглыми огоньками. Вверх поднимались два синих дымка. Ещё минута, ещё две или три, и от головешек не останется даже следа.

Если бы так же не оставалось следа от мыслей, время от времени терзавших его...

Он наклонился, взял кочергу и сердито пошевелил отставшие головешки, чтобы они догорели скорей, точно прогонял наваждение, однако наваждение не оставляло его. Он думал с горькой обидой, что слишком разные, непохожие, несравнимые тропки вели его и Илью, но, в сущности, привели к одному и тому же.

Рассуждая бесстрастно, как и положено рассуждать, он очень давно для того и придумал Илью, чтобы прежде других себя самого остеречь, чтобы зло осмеять свои ненавистно-дурные склонности к созерцательной лени, рано примеченные в себе. Для него эта книга должна была стать воспитанием, и он всласть потешился над своими пороками, полагая, что от этого сделался лучше. Вот, он не лежал, он трудился от зари до зари, чего же ещё?

Кажется, ничего, а они погибали вместе с Ильей, один от застарелого тупого байбачества, другой от бессмысленных неустанных трудов. И ни в том, ни в другом для животворного света не находилось необходимого, обыкновенного выхода...

Он тоже мертвел с каждым днем...

Рассыпались последние головешки, золотистые угли стали чернеть.

Он вдруг вскочил, возмущенный: не головой же биться об стенку! Чего доброго, коль распустишь себя, до чего не дойдешь!

А плоды нытья вечно те же: сколько времени потеряно даром, сколько оставалось ещё просмотреть, прочитать!

Иван Александрович закурил коротенькую сигарку дешевого крепкого табака, прибавил в оплывшем канделябре свечу и придвинул к себе ненавистные корректуры, твердо намеренный к сроку исполнить свой долг.

Часа три не покладая рук просидел он над ними. Крепкие сигары перестали действовать на давно утомленные нервы. Тогда, ощущая неприятную горечь во рту, он позвонил, чтобы приказать Федору самовар, придвинул новую связку бумаг и принялся вычитывать статью для «Вестника географического общества». Одно место показалось ему подозрительным: что делать, и география у нас под цензурой. Он старательно перечитал это место, забывши о самоваре и Федоре, для верности заглянул в цензурный устав, решился оставить безобидный, но справедливый намек на постепенное запустение иных областей обширного государства Российского не то от рокового стечения непредвиденных климатических обстоятельств, не то по извечной тупости невежественного начальства, и привычные глаза сами собой двинулись дальше.

Так звонил он несколько раз, то вспоминая про самовар, то забывая о нем. Он напрягал последние силы. Через день, через два он станет почти совершенно свободен на две недели. Тогда отдохнет хоть немного, а нынче надо исполнить урок.

Это подбадриванье себя самого вдруг прервалось неожиданным звуком. Дверь за его спиной приоткрылась. В боязливую щель отчасти просунулась темная голова. Чужой невыразительный голос глухо, осторожно спросил:

– Чего изволите-с?

Решив любой ценой довести свои труды до конца, ни во что постороннее не вникая пока, он приказал торопливо, отмахиваясь, дернув назад головой:

– Чаю подай!

Ему согласно и негромко ответили:

– Счас.

И голова послушно задвинулась в коридор.

В приоткрытую дверь он успел уловить, что в квартире что-то странно шуршало, точно ворочался большой осмотрительный потревоженный зверь, однако другая статья, которую он успел снять механически сверху, слава богу, убывающей груды, показалась с первых же строк интересной сама по себе, и он принялся читать с особым вниманием, устало радуясь неожиданному развлечению.

В квартире, однако, продолжало что-то шуршать, и на новый нетерпеливый звонок неслышно всунулась новая голова, тоже согласно буркнула сакраментальное «счас» и тоже отвалилась назад, как упала.

Обернувшись невольно, он поднял глаза и успел мимоходом поймать, что голова на этот раз была пегой, а не темной, как прежняя. Это верное наблюдение скользнуло мимо сознания. Он продолжал упорно читать слезившимися глазами. Тем не менее в нем все-таки закопошилась тревога. Он стал перескакивать через слова, через фразы, почти не вникая в их содержание, если содержание в них, разумеется, было.

Он наконец испугался.

Он представил, что доверчивый Федор куда-то исчез, что чужие и по одной этой причине опасные люди бесстыдно вторглись в оставленную без присмотра квартиру, ловко шарят по комнатам и подкрадываются уже, должно быть, к нему. Таким образом, он перестал находиться под надежной сенью благоустроенного порядка, который ограждает добропорядочных граждан от разбойников и воров.

Он почувствовал себя беззащитным. Отчаянный страх сдавил его душу. Воображение разыгралось. Будь он моложе, он, того гляди, пустился бы вопить «караул». Однако он был немолод, во всех случаях жизни умел рассуждать хладнокровно и тотчас отогнал свои глупые страхи. В конце концов, сказал он себе, ему нечего было терять в его утомительной, беспокойной и бессмысленной жизни.

Оттолкнув назад кресло, он неловко вскочил, заковылял на затекших ногах, машинально ещё напрягаясь понять последний, какой-то уж абсолютно загадочный, длиннейший абзац многоречивой статьи о густопсовых породах собак и решительно загадочное отсутствие Федора, недовольно дернул дверь его сумрачной комнаты, освещенной одним огарком толстой свечи, которая дымила красным колебавшимся прыгавшим пламенем, открыл рот и остолбенел.

В тесноте запущенной, сильно пропахнувшей ногами каморке для слуг двигались беспорядочно, переваливались, качались, размахивали без всякого смысла руками взъерошенные, темные, обломанные, незнакомые люди. В остановившихся мутных зрачках уже не светилось никакого сознания. Багряно-зеленые измятые лица расплывались в дурацких улыбках, как перестоявшее тесто. Бессвязные слюнявые губы тупо тянулись, не в силах слова сказать.

На смятой постели, свесивши длинные толстые ноги, валялся бесформенный Федор. Его зрачки закатились. Глубокие провалы исчезнувших глаз мертвенно желтели остановившимися белками.

Иван Александрович громко, властно крикнул на них, и они один за другим покатались за дверь, точно жидкая грязь. На его громкий призыв припелся хмурый заспанный дворник и, потянув Федора за ногу, кликнул на помощь сапожника из подвала напротив. Вдвоем они умело раздели безгласное тело, порыскали в лицо холодной водой из ведра, потеряли виски

разведенным, мерзко пахнувшим уксусом, однако не добились никакого успеха и равнодушно оставили Федора спать, сообщив, что парень непременно проспится к утру.

И точно: по всей квартире поднялся и забулькал удушливый храп.

Иван Александрович опомнился посреди кабинета, держа себя за нос правой рукой. Собственно, удивительного, необычного, невероятного не произошло ничего. Он привык наблюдать, как в нынешней жизни всё точно блекло и вяло и бывшее веселье за стаканом золотого вина превращалось в потребность забыться, но ему вдруг показалось, что это всего-навсего сон, несуразный кошмар издерганных нервов, какие доводилось видеть не раз.

С оторопелым видом он воротился назад.

Федор был вдребезги пьян наяву.

Для верности он потрогал бесчувственное тело рукой. Голова Федора бессильно мотнулась, из-под полуприкрытых редких рыжеватых ресниц угрюмо желтела полоска неподвижных белков. Он растерянно думал, возвращаясь к себе:

«Ах ты, зеленое вино, российское горе...»

Посреди темного коридора, когда он отыскивал ощупью дверь, ему припомнилось удалое речение князя Владимира «веселие на Руси есть пити».

Он усмехнулся с тоской:

«Навечная, неизбывная заповедь...»

Наконец нашел дверь и продолжал меланхолически думать, бродя от стены, заставленной книжными шкафами, к стене, на которой были развешаны фотографии, сутуля широкую спину, опустив голову, тупо разглядывая мелькавшие носы замшевых домашних ботинок:

«Крепостное право падет не сегодня, так завтра, русский мужик наконец получит свободу, и застонет, заплачет, забьется беспечная, бессильная Русь под новым игом, горше татарского. Кто и когда из-под него изведет тебя, матушка Русь?..»

Носы ботинок мелькали размеренно, то один, то другой. Ничего он больше не видел. Светлые брови нахмурились так, что глаза повалились, спрятались в тень. И представлялся финал для романа:

«Умрет Илья, безвременно, глупо умрет, это уж непременно, а как, отчего, потом явится, это неважно теперь, а важно то, что сопьется не занятый и своим малым делом Захар, морщинистое лицо прожжется багровой печатью, шишкастый нос подернется синевой, висячие бакенбарды сваяются в нечесанный войлок, и станет негде бездомному старику приклонить свою погубленную, свою запойную старость... погубленную кем и за что?..»

Ему вовсе не нравился этот финал, слишком уж мрачным выходило пророчество о загульном, испившемся будущем, но иного финала для общества, из которого капля по капле уходит поэзия жизни, уходит душевность, уходит добро, он по совести представить не мог.

Разбитый, развинченный, он остановился перед стеной, тупо глядя на бледные узоры старых обоев, на прямоугольники фотографий, едва проступавших в ночной полутьме.

Ему нужен был свет.

Он повернулся, побрел понуро к столу, где в двух канделябрах догорали молчаливые свечи, бросая перед собой желтоватый расплывчатый круг.

И вдруг спохватился: какой может быть у его романа финал? Если ещё раз вспомнить то время, которое пошло на первую часть, до финала лет ещё сто, вполне достанет, слишком достанет, тут же насмешливо поправил себя, чтобы проверить, такова ли выпадет Захару судьба, однако пьяное будущее духовно нищего общества представлялось неотвратимей и ближе, чем далекий, в самом деле слишком далекий финал ненаписанного романа.

Свет бил ему прямо в лицо. Лицо двигалось, часто меняясь, становясь всё более скорбным и жалобным. В почернелых провалах сузились в мрачные щели глаза, немые зрачки посерели, как старые угли. Он вновь допрашивал с неизбывной тоской:

«Кто и когда изведет тебя, Русь, из-под могучего ига?.. Какой проповедью, чьим поучением и примером образумишься ты, неразумная?..»

Скривились пересохшие губы. Он язвительно одернул себя:

«Свет придумал... с романом носишься десять лет... зачем?.. для кого?.. Может быть, и не надобно никакого финала...»

Он плюнул с досады, зарылся в не прочитанные ещё корректуры и вскоре забыл о пьяном кошмаре, о романе, о свете и о себе. Нужно было помнить один цензурный устав.

Под утро он прикорнул в старом кресле, прямо одетым, вытянув ноги на стул. Свечи были задуты. Слабо пахло обгорелыми фитилями и остывавшим расплавленным воском. В окно, по милости Федора всегда неплотно прикрытое шторами, молча глядела луна. Луна была полной и тусклой.

Луна побледнела, продолжая печально глядеть из другого окна, когда разбудил его Федор, с похмелья что-то звучно разбив, сокрушенно ворча. Как по команде открыл он глаза и увидел всё тот же затуманенный круг. Под низким пронзительным ветром громко стучали голые ветки деревьев, всю зиму терпеливо мерзшие во дворе. Тяжелую голову точила – тупая, нудная боль. Надо бы было поспать ещё часа два, и он было пристроился в кресле удобней, но уже не уснул, только отяжелевшее тело тянулось и млело, а беспокойство уже призывало к столу.

До ванной комнаты он едва дотащился, ощущая неотдохнувшее тело как бремя, споткнувшись на ровном месте два раза, пошатываясь, точно и сам был во хмелю. Даже холод воды мало его освежил. В столовую он вошел по-прежнему вялым, безразличным и к проклятому долгу и к себе самому. Случайные полумысли натужно скрипели, как немазаные колеса, в больной голове. Эти полумысли невозможно было ни разобрать, ни поймать, чтобы придержать на минутку и неторопливо поразмыслить над ними. И с какой целью придерживать, для чего размышлять? Ему хотелось проклясть белый свет.

Федор, согнувшись над ним, приволок самовар и с обвислым несвежим лицом только смущенно вздыхал, топчась перед ним и старательно не глядя в глаза.

Иван Александрович ни слова не сказал о ночном происшествии: на его веку не попадались трезвые, непьющие слуги. Для чего говорить, когда напрасны слова? Лучше было бы, хоть через силу, позабавиться привычной игрой, однако некстати припомнил, что вчерашний вечер не ужинал вовсе, и поник головой: что могло оставаться в буфете, что можно бы было приказать принести?

В полном молчании он выпил две чашки крепчайшего кофе, выкурил одну за другой две немилосердно горьких, самых крепких сигары и ощутил наконец, что в состоянии службу свою продолжать, ибо крест свой надо нести до конца.

Часа через три, когда в окна пробился хмурый ветреный день, у него появился Краевский, свежий, подтянутый, одетый элегантно строго, с улыбкой на выразительном неподвижном лице.

Иван Александрович поднялся навстречу, пожал вежливо руку, однако сухие пальцы Краевского не ответили на пожатие, улыбка исчезла с лица, точно была снята с него, серые глаза посмотрели неприступно и прямо, лицо замкнулось, не выдавая ни мыслей, ни чувств.

Эти приемы Краевского были известны давно. Он коротко, исподтишка с любопытством взглянул на редактора влиятельного журнала, зная уже наперед, о чем тот станет просить, стремясь угадать, с чего тот начнет.

Они сели друг против друга. Андрей Александрович начал с холодным высокомерием:

– Вчера вы изволили вернуть мне статью, в которой трижды вычеркнули намек на известного поэта Некрасова. Позвольте спросить, что бы это могло означать? По старой дружбе...

Так, начал прямо, открыто, и высокомерно и в то же время невинно-обиженно, и свои права показал, всё это делать Краевский умел, напрасно только о старой дружбе сказал, с пер-

вых дней их знакомства между ними установились вежливые, ровные отношения, однако друзьями они не были никогда, впрочем, и о дружбе вставлено ловко.

Что ж, лицо его тотчас стало непроницаемым, как и лицо его собеседника. Он ответил с меланхолической вялостью, как должностное лицо, как чиновник исправный, не позволяя даже тени намека на дружеский тон, который приводит к нарушению долга:

– Мои действия могли одно означать, любезнейший Андрей Александрович, что изъясняться в печати о стихотворениях господина Некрасова в настоящее время высочайше запрещено.

Холодные глаза Андрея Александровича неотрывно глядели в упор, точно желали сказать, что никакие запрещения его не касаются, поскольку речь идет о принципах, не меньше того:

– Однако, смею напомнить, это были всего лишь намеки.

Он продолжал держать себя как исправный чиновник, но куда мог бы выпрыгнуть из него литератор, а литератор был пронизателен и Андрея Александровича видел насквозь.

Нет, разумеется, Андрей Александрович вовсе не был дурным человеком. Это был рожденный редактор, и равных ему в журналистике находилось немного. Кроме того, Андрей Александрович был хорошо образован, что не о каждом редакторе можно сказать, всегда умел держать и поставить себя, был деятелен и чрезвычайно подвижен и по журналу решительно всё делал сам, славясь умением привлечь к себе известных писателей усиленным вниманием к ним и даже заискиванием, а молодых доступностью, свободным обращением с ними и туманным либерализмом, которого нельзя было подвести ни под какую программу, а всех вообще, и старых и молодых, покорял умением обольстить своим кошельком, к которому прибегал не для одной только аккуратной и точной уплаты заработанных денег за напечатанные статьи, что во всех прочих редакциях приключалось до крайности редко, да ещё платил в полтора раза больше других, да ещё беспрестанно предлагал плату вперед, объясняя, что знает отлично, как трудно приходится людям, существующим единственно на умственный труд.

Всё это было, нравилось и сближало с Краевским, однако же принципы, убеждения, порядочность наконец? Вот уж был вздор! Беседуя с ретроградом, Краевский поддакивал, во всем с ним соглашался, но если другое лицо, вошедшее в редакторский кабинет, высказывало прямо противоположные мнения, Краевский охотно соглашался и с ним. Разумеется, в этой покладистости была прежде всего тонкая, безошибочно верная пронизательность, Краевский тотчас угадывал человека и легко становился и прогрессистом и консерватором и ретроградом, лишь бы не оттолкнуть от себя никого и не нажить себе понапрасну врага.

Но если бы только эта одна сторона. Краевский наделен был пронизательностью дельца, а не убежденного человека. У Краевского не имелось никаких убеждений, он не принадлежал и к одной из сложившихся партий, не имел твердых политических взглядов и даже определенных эстетических вкусов и менял программу журнала как флюгер, он и занимался журналом не из желания просвещать, распространять какие-либо идеи, пропагандировать идеи, философские и политические, а единственно ради наживы. Это был просто-напросто умный, умелый торговец плодами чужого умственного труда, выпускавший из своей лавки полноценный товар, на какой в данное время был спрос среди массы подписчиков, умевших и желавших читать.

По этой причине непроницаемый взгляд убежденного человека представлялся смешным и немного обидным, так что в ответ Иван Александрович пустился в игру с этим пронизательным человеком, улыбаясь безучастно, одними губами:

– Готов сочувствовать вам, но и намеки нынче запрещены, ничего не попишешь. На этот раз попробуйте обойтись без намеков.

Краевский невозмутимо отрезал:

– Без этого рода намеков статья не имеет ни малейшего смысла. Без намеков и вся журналистика перестанет существовать.

Сообразив, что Краевский, должно быть, своим тонким купеческим носом учуял едва приметную, едва слышимую потребность общественных перемен, которая, кажется, наконец и у нас закружилась в умах, он ещё раз вежливо двинул безучастные губы, словно выражая сочувствие, и вдруг неожиданно, снизу испытующе заглянул прямо в пустые глаза:

– Простите, если я не совсем буду прав, однако без этого рода намеков смысла в статье только прибавилось, хотя, в самом деле, довольно пустая статья. Что же касается до журналистики, то журналистика как-нибудь проживет, ежели, впрочем, отыщет намеки потоньше.

Ни одна черта не изменилась в натянутом, стылом лице, только голос Краевского стал ещё суше, ещё холодней:

– Мне сказывали, Иван Александрович, что у вас с Некрасовым завелись свои счеты.

Он подивился, что Краевский так осмелел, стало быть, в самом деле почуял, независимость мнений своих бережет, поскольку независимость может принести большие проценты. И какой все-таки пошлый, гнусный намек! И как плохо понимает его даже этот пронизательный человек, если решился такие вещи в дело пустить!

Но он тоже не переменялся в лице, не позволяя себе обижаться. Клеветы в его жизни хватало, и он, недоумевая долгое время, когда слышал её, весь сжимаясь и тайно страдая, наконец и против неё отыскал афоризм:

«Не стоит смущаться, – рассудительно напоминал он себе всякий раз, – если даже весь мир называет тебя убийцей или лжецом, а ты по совести знаешь, что ты ни тот, ни другой, как нельзя обольщаться, если весь мир признает тебя своим идиолом, кумиром, вождем, а в душе твоей копошится сомнение, которое тебе говорит, что ты не идол, не кумир и не вождь, а обыкновенная своекорыстная дрянь. Довольно знать, каков ты на самом деле, и пусть себе говорят, что хотят...»

И он тронул точно безжизненную руку Краевского:

– В самом деле, поэзия Некрасова мне нравится мало. Это, если позволите такое сравнение, скорее рогожа, однако щедро расшитая шелком.

Тут он плотно сжал свои тонкие губы, глаза его на мгновение сурово блеснули из-под больших покрасневших полуопущенных век. Не повышая голоса он внушительно произнес:

– Однако заметьте, любезный Андрей Александрович, что, по моему глубочайшему убеждению, которое не может не быть вам известно, Николай Алексеевич – настоящий поэт и человек с убеждением, хотя и не совсем нравится мне, и я никогда, вот именно: никогда не позволил бы себе вычеркнуть имя его по своей прихоти, тем более из чьей-нибудь выгоды. Считаю своим долгом довести это обстоятельство да вашего сведения.

Краевский продолжал глядеть холодно, отчужденно, прямо в глаза, так что невозможно было угадать его мыслей, но в ровном голосе вдруг прозвучала угроза:

– В таком случае я стану жаловаться министру.

Вот тебе и вся независимость мнений, а напустил-то на себя, напустил!

Довольный таким следствием своего замечания, он весело фыркнул и отмахнулся рукой:

– И совершенно справедливо изволите поступить: запрещение сделано самим Авраамом Сергеичем, которому дано указание свыше.

Краевский тяжело, недружелюбно поглядел на него и резко спросил:

– И вы отказываетесь что-нибудь сделать на свой страх и риск, когда речь зашла об этом настоящем, как вы изволили верно заметить, поэте?

Вот и поговорили, а ведь он к Краевскому относился терпеливо, терпимо, вовсе не хуже, чем к остальным редакторам и знакомым, хотя обыкновенно скучал, когда беседовал с ним, и ему всегда становилось неловко под его непрерывным пристальным остановившимся взглядом из глубины равнодушных, безмысленных глаз.

Полусонно опустив тяжелые веки, точно обдумывал, не поступить ли в самом деле на свой страх и риск, он невольно припомнил, что Иван Сергеич приходил в замешательство,

когда Краевский вот так же, как тому представлялось, в самую душу, и без возражений принимал любые условия, какие бы ни предложил проворно-деловитый редактор, не зная потом, как отвергнуться от них.

Он и сам ощущал, как в его душе нарастало желание уступить, лишь бы избавиться поскорей от неумолимого, твердого, без определенного содержания взгляда, и следил, точно играя с собой, как желание становилось всё нестерпимей, однако он не мог уступить, и ему доставило удовольствие, не открыв глаз, равнодушно сказать:

– Вам же известно, Андрей Александрович, что не только ради Некрасова, но и для вас... – он помолчал, чуть выделяя последнее слово: – для ва-а-ас и рад и готов бы стараться, да зачем же нам рисковать из-за нескольких, ну, скажем так, незначительных фраз?

Краевский отрывисто бросил, не улыбувшись, ничем не выразив своих чувств:

– Боитесь?

Так, так, а ведь он не боялся. Влепят в крайнем случае выговор, обыкновеннейший выговор, устно или в приказе, который может испортить хорошее настроение, но который не сможет его погубить. Разумеется, было бы неприятно, день или два, не больше того. И говорить о таких пустяках не хотелось, да и не находил он приличным оправдываться ни перед кем, тем более перед увертливым, осторожным редактором, который никогда не был таким решительным храбрецом, каким мог кому-нибудь показаться благодаря своему неотразимому взгляду удава. В подобных случаях он равнодушно молчал, предоставляя думать о себе что угодно, однако в эту минуту его тянуло развлечься, в конце концов подобные развлечения были единственным средством не зачахнуть совсем в его невеселой, однообразной, утомительной и, как он считал, неудавшейся жизни. Он подхватил простодушно:

– А как же? Конечно, боюсь.

Краевский наконец приподнял широкие брови, и в неласковых серых глазах промелькнуло злорадное торжество.

Наблюдая за ним, Иван Александрович откинулся в кресле, поиграл пальцами, сложенными на животе, и ласково продолжал:

– Однако ведь вы, маршал нынешней журналистики, как изволят болтать досужие языки, у вас нынче полтора или два миллиона, которые вы нажили трудами, можно сказать, всей русской литературы, нас всех печатая почти безотказно, а вы ведь тоже боитесь, осмелюсь вам доложить.

Краевский выпрямился, даже дрогнули губы, точно намеревался презрительно улынуться да передумал, и вопросительно поглядел на него.

Он ещё ласковей подтвердил:

– Ну, разумеется же, боитесь, без моей визы печатать не станет, потому что знаете, что там и как.

Краевский стиснул зубы и отвел наконец пустые глаза.

Он же был очень доволен собой, лукаво взглянул на него из-под ресниц, заметил морщины, прорезавшие невысокий, всегда такой безмятежный, такой добродетельный лоб, и задумчиво прибавил:

– А я все-таки не обвиняю вас в трусости, упаси бог. Обвинять в трусости законное право имеет лишь тот, кто сам решительно ничего не боится. Я боюсь, для чего мне скрывать. Слуцись что со мной, ну, ежели я на свой страх и риск подпишу, вы имя мое, прямо вот так: «Иван Александрович Гончаров», в свое завещанье не вставьте. Ведь не вставьте, а?

Краевский рассеянно, словно сосредоточенно обдумывал эти слова, раскрыл массивный золотой портсигар, небрежно извлек из него дорогую сигару, затем, верно, вспомнив, что не один, мягким жестом предложил и ему.

Он рассмеялся тихим ласковым смехом, отстранил от себя портсигар ещё более мягким, изысканным жестом руки, шутливо отнекиваясь:

– Что вы, что вы, я взятку не беру и борзыми щенками... и в завещание тоже к вам не прошусь, не подумайте, это всё так, только к слову пришлось.

Краевский тотчас убрал портсигар в боковой карман сюртука, повозился с сигарой, искал глазами огня, забыл закурить и неожиданно для него пожаловался суховатым, но все-таки дрогнувшим голосом:

– Однако, позвольте, Иван Александрович, у меня остался всего один день, а под рукой решительно ничего, хоть плачь или, хуже того, хоть дело свое закрывай. А ведь это журнал, орган, так сказать, просвещения. Необходимо его охранять, необходимо сохранить для прогресса. А когда вы наконец решитесь печатать роман, милости просим, мы, со своей стороны, вам навстречу с полной нашей охотой пойдем.

Он улыбнулся с искренним сожалением:

– Я не собираюсь печатать роман. Как вы изволите знать, романа ещё нет ни на бумаге, ни в голове, я даже, помнится, возвращал вам однажды аванс. А ежели бы вдруг написал и решился печатать, то на основаниях общих, как всем, так и мне, за лист по двести рублей, мне чужого не надо.

Краевский нижнюю губу закусил, подумал о чем-то, сунул сигару в карман и раскрыл дорогой английский портфель:

– Ну что ж, покорнейше прошу с наивозможнейшей быстротой просмотреть вот этот пустяк.

Он принял стопочку жирных, сочно пахучих, измазанных корректур и дружески обещал:

– Разумеется, тотчас примусь.

Краевский поднялся, поклонился и оставил его.

Иван Александрович снова остался один в свете желтоватого бледного дня, минут пять сидел безучастно, размышляя о том, что обязанности его не только утомительны, но и в нравственном отношении тяжелы, хотя ни в чем постыдном упрекнуть его было нельзя, и, вздрогнув, тоже беспокойно, нервно поднялся.

Расчетливый Краевский, бесстыдный стяжатель, делец, все-таки прибавил труда.

Он вызвал всё ещё виновато глядевшего Федора и строгим, на этот раз непререкаемым тоном приказал решительно никого не впускать.

Статька, оставленная Краевским, оказалась случайной, пустой, из тогохлама, каким обыкновенно затыкают внезапные дыры во всех подцензурных изданиях, однако он удвоил внимание, просматривая её, несколько раз чертыхнувшись в душе, и от этих чертыханий, отвлекавших и, как представлялось ему, озлоблявших его, иные места перечитывал по нескольку раз, наконец, вздохнув тяжело, точно сваливал с плеч долой непосильную ношу, аккуратно, разборчиво подписал и отправил с посыльным.

А время ушло. Он читал дальше, курил, пил черный кофе, уже не бодривший его. Усталая голова разрывалась от боли. По этой причине, обхватив лоб свободной левой рукой, он через силу просматривал оттиски, вычитанные им позавчера и вчера, вновь набранные ночными наборщиками и возвращенные ему на последний досмотр.

Черепашьим шагом, но все-таки стол очищался, работы оставалось всё меньше. Предчувствуя отдых, смертельно необходимый ему, он набросился на неё, как долгим перегоним заморенная лошадь, с натужным азартом.

## Глава третья

### Передышка

Но – нет!

В дверях прошелестело женское платье, впорхнуло, уселось, покрывши волнистыми модными юбками почти весь широкий диван, и защебетало беспечно:

– Что это вы сидите тут взаперти? Такая удивительная погода, а вы взаперти! Бросьте, бросьте немедленно! Я нарочно заехала вас похитить для нас! Мы отправляемся...

Он поднялся, поклонился вежливо, как привык, проклиная чертову куклу, приложился губами к уже освобожденной от тесной перчатки теплой душистой руке, придвинул свое старое кресло, галантно уселся поближе, приготовившись слушать и отвечать, и смотрел не мигая, беспомощным взглядом, с трудом одолевая себя, на кокетливую лиловую шляпку с серым пером какого-то петуха, без раздражения, устало думая про себя, что ещё один лишний час, может быть, целых два придется торчать взаперти, как было только что сказано с удивительной точностью, в прокуренном воздухе, с кандалами служебного долга, с этой смешной вертихвосткой, с которой был случайно, светски знаком и которой из деликатности делал два три коротких визита за целый год.

Он так устал, что в душе вспыхнула, собрав, должно быть, последние запасы энергии, жажда бежать, где-нибудь спрятаться, запереться в какой-нибудь одинокой, недостижимой келье, в убогой хижине, за Байкалом, посреди сибирской тайги, где бы все оставили его наконец, где бы дали спокойно работать, спокойно дышать, где бы он был волен распоряжаться собой.

Эта жажда означала одно: спешная работа доконала его. Он нехотя присмотрелся к себе, всякий раз обращаясь к анализу, как только темные силы поселялись в душе. Он обнаружил, что измучен людьми, которые врывались к нему то с делом, то без всякого дела, что уже готов был топтать ногами, визжать и крушить вокруг себя всё без разбора, то есть что он приблизился к крайней черте.

Это состояние духа он знал наизусть. Тут было всего важнее не смигнуть, и он не смигнул, не побежал никуда, даже не тронулся с места. Он призвал на помощь все правила, которыми в любых обстоятельствах обязан руководствоваться порядочный человек, и на птичий щебет ответил с доброй насмешкой:

– Я с вами согласен: нехорошо сидеть взаперти, однако, помилуйте, я выходил, там дождь или снег. У вас цвет лица изумительный, но такая погода может повредить даже вам. Вы решительно погубите свою привлекательность. Поберегите себя ради нас. Анна, Павловна, я вас умоляю.

Анна Павловна кокетливо поправила свой пегий, искусно завитый локон. Анна Павловна придала невыразительным выпуклым серым глазам сентиментальную дымку. Анна Павловна, несмотря на короткий вздернутый носик, вздохнула с романтической грустью и томно призналась:

– Ах, боже мой, моя привлекательность! Не говорите больше о ней! Всё в прошлом, решительно в прошлом! Хотя я почти молода! Но в мои лета, признайтесь, можно выглядеть лучше! Вы не поверите, Иван Александрович, дав года назад, когда у нас отняло вас это гадкое путешествие, вы ещё имели бы право называть меня привлекательной! Тогда, можете представить себе, я ещё обходилась, пардон, без корсета...

Он с пониманием улыбнулся, проклиная на этот раз и её, и корсет. Ощущение было такое, что его поймали, как мышшь, поймали в собственном доме, из которого, к несчастью, нельзя

улизнуть, и ему начинало казаться, что ещё через миг он все-таки вскочит, завершит благим матом, что-нибудь разобьет и в бессильной ярости растопчет злыми ногами.

Его выдержка начинала сдавать. Он тяжело оперся на широкий твердый подлокотник. Он как-то вяло и нехотя корил себя за несдержанность и за эту самую невозмутимую выдержку. Он понимал, что самая обыкновенная грубость тотчас бы оттолкнула её, что он должен был бы упрямо, ненарушимо молчать, глядя ей прямо в глаза, чтобы выкурить поскорее эту болтливую бестию, способную испугаться даже не брани, а одного гробового молчания, что любое произнесенное слово, пусть бы и нехотя, пусть невпопад, лишь подливает масла в огонь и в ответ вызывает бурный поток самой бессмысленной трескотни, которая грозит затянуться до вечера, но он не умел бестактно молчать перед женщиной, тем более по-мужички грубо заорать на неё, и потому не мог не поддержать завязавшийся разговор. Не позволяя себе хотя бы недовольным выражением на лице показать, что она помешала ему, он разрешил себе только тонкую шпильку, понятную ему одному, и любезным тоном сказал:

– Такие женщины, как вы, не стареют. Вы уверяете, что вам тридцать лет, и в самом деле вам можно дать почти столько, хотя три года назад вам было сорок. Мы тогда встречались у Майковых, и вы вспоминали, что вам не было тринадцати лет, когда на Сенатской площади стряслись эти ужасы и как вы тогда испугались. Для вашего возраста у вас превосходная память.

Так незаметно он потешался над ней полчаса, а она хохотала до слез и наконец ушла от него в совершенном восторге, на прощанье с лукавой улыбкой сказав:

– Не примите за лесть, но вы самый любезный из моих кавалеров! Непостижимо, как это вы до сих пор не женаты!

Он собственными руками задвинул засов, для верности ещё накинуд стальную цепочку и крикнул рассерженно Федору:

– Почему ты принял её?

Федор, стоя в дверях своей комнаты, плечами под притолку, выставив по-гусиному голову, покорно глядел на него, без страха, без упрека в неподвижных глазах и объяснил монотонно, точно давась, как это вещи такие простые, а не могут понять:

– Барыня-с... я подумал, вы станете гневаться, если я не приму-с...

Он поднял брови и попробовал возмутиться:

– На прошлой неделе ты не принял такую же барыню, зачем же эту впустил? Кто позволил тебе?

Федор взглянул на него как на своего дурака и растолковал с неумолимой доходчивостью:

– Та пешком пришла и одета была не по-своему, я подумал, станет на бедность просить, обеспокоит, а у этой свой экипаж и в шляпе какое перо! На козлах кучер в ливрее, эдак сидит, по-русски молчит, англичанин, верно, какой! Помилуйте-с, как не принять!

Он засмеялся, дивясь, что есть ещё силы смеяться:

– Она фрейлина при дворе, так это не её экипаж, а фрейлинам дозволяется выезжать.

На это Федор, не меняя позы, резонно заметил:

– То-то и есть, что фрейлина, при дворе, на бедность не станет просить, а на экипаже ничего не написано.

Он отступил перед сокрушительной логикой и только неуверенно пригрозил:

– Смотри у меня...

Федор поглядел удивленно, пригнулся и убрался к себе. Иван же Александрович сел поспешно к столу, но ещё долго не понимал ничего. Перед глазами мельтешила проклятая фрейлина, шляпа с пером, экипаж. Её сменил неприступно молчавший Краевский. Затем припомнились философские нравоучения Федора. Словно отвечая кому-то, он проворчал про себя:

«Когда тут писать, читать не дают!...»

## Глава четвертая

### Перед зеркалом

Ему больше не помогали ни сигары, ни кофе, а колокольчик надрывался от ярости, требуя красными чернилами измаранных корректур, чтобы успеть в который раз перебраться и возвратиться для новой проверки.

Уже подходило к обеду, когда он сбыл последние с рук. Оставалось с десяток убористых рукописей, по каким-то причинам не вставленных в выходявшие номера, и он в беспамятстве принялся было за них, но отступил наконец, обнаружив, что больше не в состоянии видеть исписанную бумагу.

Тогда, решив отложить эту мороку дня на два, он закурил хорошую, ароматную, длинную, толстую дорогую сигару, пересел на диван, чтобы в полной мере насладиться прелестью тонкого табака, и прикорнул в уголке, не выпуская сигары из судорожно стиснутых пальцев.

Очнувшись минут через двадцать, Иван Александрович раскурил ей вновь и точно застыл, потягивая легкий сладковатый дымок, не думая решительно ни о чем. Он просто сидел, наслаждаясь долгожданным покоем, не бодрствуя и не дремля.

Потом позвонил, призвав к себе Федора, и спросил одеваться. Служба кончилась. Настало время личных, собственных дел: размять ноги, подышать свежим воздухом, где-нибудь пообедать, удовлетворить свою страсть наблюдателя жизни, встретиться, может быть, с кем-нибудь.

Он перешел в туалетную комнату, куда Федор уже перенес из гардеробной белье и костюм, и едва узнал себя в исправном, безукоризненном зеркале.

С зеленого измятого осунувшегося лица в глубоких морщинах и складках глядели какие-то обесцвеченные, невыразительные глаза, с головками назревающих ячменей на покрасневших раздувшихся веках, обведенные синюшными тенями.

Он любил повторять себе и другим, что здраво мыслящий человек может быть счастлив только за делом, если, разумеется, позволительно думать о счастье здесь, на земле, и теперь, глядя в темное зеркало на свой опустошенный, изношенный лик, передразнил себя без улыбки:

«Ты это неплохо придумал, почтенный философ, чего доброго, скоро, пожалуй, станешь абсолютно счастливым... когда прежде времени загремишь на тот свет...»

Смерть сама по себе его не страшила. Долгие годы приучал он себя безропотно покоряться неизбежному ходу вещей, как подобает поступать разумному существу, а смерть была неизбежна, как жизнь, когда-нибудь она с ним случится, это всё.

Свидание с ней было бы, может быть, несколько легче, если бы удалось оставить хоть слабый, но приметный следок на земле, да он разуверился в этом давно, тоже как подобает разумному существу, проследившему, как зыбки, преходящи наши следы, и жил, как жить удавалось, то есть жил понемногу.

Стало быть, и довольно об этом предмете болтать. Он прыснул хорошим немецким одеколоном и обтер обнаженное тело. Кожа, похолодев, стала вновь упругой и гладкой. Щегольская сорочка тонкого голландского полотна заставила расправить усталые плечи. Тугие темно-серые брюки приятно подтянули обширный живот. Строгий черный сюртук возвратил невозмутимую холодность. Он строго кивнул своему помолодевшему отражению в черном стекле:

«Ты, разумеется, стар, но пока ещё тлеется капля мужества жить, так что рано думать о смерти...»

В самом деле, морщины утратили резкость и глубину, сделавшись словно бы элегантней и строже. Полное, словно чуть заспанное лицо превратилось в обычную маску покоя, равнодушия решительно ко всему, спрятав поглубже усталость, страсти и ум. Искусно и тонко

мороча, такое лицо заставляло многих считать, что у достойного владельца его всё в полнейшем порядке и что он всем и всеми на свете доволен, в особенности доволен собой.

Оглядев себя ещё раз, он дрогнул углами умного рта:

«Неказисто с достоинством, и то хорошо, не было бы хуже чего, а лучшего не бывает, да и может ли быть?..»

## Глава пятая

### Прогулка

Спускаясь по лестнице спокойным размеренным шагом, Иван Александрович наконец уловил привычный сдавленный гул и вышел на бесконечную улицу.

Сплошные каменные дома однообразно тянулись в обе стороны и с обеих сторон. В запотевших витринах зажигали огни. Сосредоточенные угрюмые нелюдимые пешеходы с матово-бледными нездоровыми лицами торопливой толпой спешили по тротуарам бог весть куда, должно быть, домой. По расчищенной мостовой скакали извозчики и личные экипажи, запряженные четверней. Подковы множества лошадей ударяли одинаково звонко и жестко, шуршали шины колес, шуршали подошвы людей, голоса раздавались редко, негромко и глухо. В холодноватом редком тумане, в течение дня накопленном Городом, всё сливалось в длинный однообразный неразборчивый звук. И над всем молчаливо висело серое низкое тоскливое небо.

Он не разглядывал ни людей, ни коней. Тоскливое небо тоже не задевало его. С годами он себя приучил рассудительно думать, что это северное приморское беспокойное небо, то в нечаянных редких просветах, то в водянистых сплошных облаках, то изредка голубое и чистое, дорого его сердцу неисправимого горожанина именно этим множеством самых разнообразных оттенков, но как только видел эту раскисшую грязную тряпку над головой, так ему с затаенной тоской неизменно припоминалось бескрайнее небо над тихим родным невзрачным Симбирском.

Оно было несравненно прекрасным, то высокое-высокое небо... Прозрачное, глубокое, голубое, оно сладчайшей тоской манило к себе... Год назад он чуть было не воротился к нему навсегда... однако не воротился... должно быть, не смог...

О том небе, о недавней своей неудаче думалось грустно, легко. Мысли перебивались только витринами. Он любил подолгу торчать перед ними. Они доставляли ему какое-то странное наслаждение. Однако сегодня, он это вдруг уловил, он и на витрины глядел скорей по привычке, безучастно, мельком: видно, он слишком устал и для них.

Лишь в одной его задержал на минуту дамский стройный высокий ботинок, выставленный, должно быть, только на этой неделе, когда он почти не выбирался из дома, и он постоял перед ним с видом бесцельного уличного зеваки, осанисто заложив руки за спину, сунув под мышку черную трость, полюбовался модным изяществом изгиба в подъеме и формой носка и остался доволен добротной и тонкой английской работой, которая с первого взгляда была угадана им.

Вздыхнув, словно жалея, что все-таки надо идти, он двинулся дальше, тяжело и устало, из чувства собственного достоинства не позволяя выказывать ни усталость, ни тяжесть в ногах, стараясь шагать размеренно, беззаботно, легко, как всегда.

Под ногами уже подмерзала, похрустывая, дневная липкая грязь. Дымное пятно, изображавшее солнце, скатывалось в холодный густевший туман.

И невольно при виде этого тусклого размытого чайного блюдца вновь подумалось о забытой, давно покинутой родине.

Что-что, а солнце светило на родине ярко. Весь день оно медленно плыло, огромное, свежее, яркое, от черты до черты далекого четкого горизонта, весной оживляя, чаруя чудесной улыбкой весь мир, летом жарко, но ласково целуя обильную землю, осенью в золото украшая пышные рощи, зимой мило смеясь, забавляясь в высоких белоснежных сугробах.

Под тем солнцем было тепло, как под родительским кровом. Под тем солнцем и дышалось легко. Под тем солнцем пролетели, промчались, может быть, лучшие годы.

Лучшие?!

Это с какой стороны поглядеть...

И лицо его стало сосредоточенным, неприступным, глаза неподвижно, неопределенно смотрели перед собой, неторопливый размеренный шаг становился уверенней, тверже, полегчавшая трость всё решительнее выбрасывалась вперед.

Прохожие, главным образом всё чиновный народ, с невольным почтением взглядывали на его представительную фигуру из-под козырьков меховых картузов или черных лакированных шляп услужливо уступали дорогу, полагая, должно быть, что идет генерал.

В день солнцеворота, в июне, он и появился на свет. В прозрачных голубых небесах висел, должно быть, громадный и чистый смеющийся шар...

Он улыбнулся, не меняя лица, исключительно про себя, этим светлым нечаянным, к чему-то возвращающим мыслям и перед кем-то знакомым, кивнувшим ему, неторопливо и вежливо приподнял свою шляпу.

Безмятежным и ласковым было его опасно-счастливое детство. Решительно все любили, нежили, баловали его...

Под эти мысли он медленно отходил, отдыхая, усталость точно волнами или толчками откатывала от натруженного воспаленного мозга, границы сознания рывками, провалами расширялись, понемногу захватывая не только себя одного, прибавляя что-то ещё, что было больше, важнее его личной судьбы, восстанавливалась незримая нить ушедшего и навстречу бегущего времени, было нарушенная казенной однообразной многодневной работой, и воспоминания, вызывая на размышления, точно это был уже и не он, а кто-то другой, с ясностью и не с сегодняшним, не то с давнишним теплом выступали из глубины блаженно оживающей памяти.

Неторопливо, размеренно, едва опираясь на трость, Иван Александрович проходил сквозь густую толпу. Вокруг него клубились форменные кокарды, петлицы, пуговицы, воротники, пятна лиц, а он видел родительский дом, точно накрытый той чистой бездонной голубизной, в которой недвижно висел ослепительный шар и неустанно жалил пустое пространство двора густым полуденным зноем и пятнал обожженную землю широкими черными тенями.

– Добрый день, Иван Александрович.

Иван Александрович неторопливо кивнул головой, с уважением глядя кому-то в глаза, и не задерживаясь отправился дальше своей неторопливой, будто скучающей, будто бездумной спорой походкой.

Вечер спускался знобкий, сырой. Свежий воздух бодрил усталую голову. Иван Александрович дышал с удовольствием, глубоко. Становилось всё приятней и легче идти. И всё чаще застревала в зажигавшихся любопытством глазах городская всегдашняя сутолочь.

Вот на низком, точно подрезанном облучке дремал совсем молоденький ванька, просто душно засунув озябшие руки в просторные рукава обношенного овчинного полушубка, а из-под сиденья торчала неумело припрятанная рогожа, видать, недавно совсем из деревни, толстые губы-то как беззащитно, по-детски распушены, и с уголка, должно быть, стекает слюна.

Вот степенно поспешали ко всеобщей черные бабы, несчастные, сосредоточенно-обреченные лица, глаза потухшие из-под тугих платков до самых бровей.

Вот на паперти темными кучками нищие, и с самого края протягивал посинелую руку волосатый мужик, с заплывшими глазками без выражения и без цвета, с слезившимися щелками припухлых болезненно век, с багровым опустошенным погيبшим лицом.

Вот широкий телом разносчик в лаковом картузе торговал горячими пирожками с ливером да с капустой да с чем-то ещё.

Вот подкатил к тротуару, тоже лакированный, экипаж, и ливрейный лакей с аксельбантом, стащив шляпу, обшитую галуном, с круглой коротко обстриженной головы, поспешно распахнул дверцу и откинул подножку, и тотчас, ступив на неё, скользнула невысокая хрупкая

женщина в собольих мехах и, откинув гордую голову, чуть шевеля мальчишески узкими бедрами, поспешно прошла в магазин. За покупками ли? Не любовное ли свидание назначено там?

Вот усатый городской повез пьяного в каталажку, наблюдая покой горожан и порядок.

Город, Город...

Он давно и страстно стремился сюда... Он в бессонные бесконечные ночи только и делал, что мечтал и бредил о Городе, как о сказочном чуде каком...

И только прошли, пролетели синие нянины сказки, скучно, тесно и душно сделалось в просторном угрюмом каменном доме, где бог весть с каких допотопных времен всё непоколебимо стояло на своих незыблемых, неизменных местах...

Его замутило даже теперь, когда он лишь вспомнил об этом, и судное скучное однообразное прошлое поспешно отвалилось назад, и мысли растерянно оборвались, точно пропали куда.

Он остался этим доволен и, не разбирая дороги, точно спеша отогнать самую тень той скуки подальше, отворил какую-то дверь.

Привычка сама привела его в книжную лавку.

С недоумением оглядел он прилавки и полки и лишь после этого понял, куда он зашел.

Ему почтительно кланялись от одного, от другого прилавка.

Он хотел бы тотчас воротиться назад, на людную улицу, где нет надобности ни с кем говорить, однако стало неловко так вот внезапно войти и уйти, ничего не спросив. Ну уж нет, странных положений он себе позволить не мог и, пожевав в раздумье губами, равнодушно спросил, лишь бы только о чем-то спросить:

– Полагаю, были новые книги?

Сам степенный, высокого роста хозяин тотчас ответил ему, весело мерцая глазами из-под начесанных на самый лоб русых волос:

– Ваше превосходительство, как не быть! Есть, есть кое-что!

Можно было бы после этого уходить, да оказались новые книги, и он с искренней радостью проговорил:

– Слава Богу!

Опираясь о прилавок тяжелыми кулаками, не меньшими тех, какими Федор владел, почтительно подаваясь вперед, хозяин, тоже с видимым удовольствием, начал перебирать:

– «Повести и рассказы», три тома, господина Тургенева, вам, должно быть, известны-с.

Приблизившись, опираясь на трость, он принялся рассуждать, пространно, со знанием дела:

– Не очень, я полагаю, идут. В наше время не все понимают его. Вроде бы, на иной вкус, не глубок, только, мол, поэтичен, изящен, проку-то что. И в самом деле, тонкие миниатюры его не для простых, примитивных умов. Однако раскупится. Не спеша. Помаленьку. Выдержка с этим товаром нужна.

Склонив голову, внимательно выслушав, обождав, не услышит ли ещё чего о таком в самом деле неходком товаре, хозяин с достоинством кивнул бородой:

– Господина Писемского “Очерки из крестьянского быта”, не знаем, как на ваш вкус, дозволейте узнать?

Он взглянул на простую обложку:

– Очень хорош. Простоват, но правдив, обнаженно, зло, беспощадно правдив. Необделанно. Есть-таки несколько сору. Впрочем, немного. Ко времени впору, как раз. Должны, по моему, брать.

Подтвердив, что берут хорошо, хозяин размашисто продолжал:

– Так точно-с, берут-с. Ещё “Стихотворения” господина Некрасова.

Он сухо ответил:

– Не очень люблю, однако тоже времени впору.

Быстро исподлобья взглянув, о чем-то подумав, должно быть, не соглашаясь, то ли с нелюбовью его, то ли с тем, что времени впору, переложив с места на место несколько книг, хозяин выложил перед ним:

– “Мадам Бовари”, господина Флобера. Француз. Решительно не знает никто. Сомневаемся очень.

Пробежав глазами название, он кивнул и просто сказал:

– Завтра пришли.

Оживившись, хозяин почтительно поклонился:

– С удовольствием. Прикажу. Беспокоиться не извольте.

Он, как делал обычно, заверил:

– Прочитаю – тотчас верну.

Хозяин лукаво забегал глазами, неприятно залебезил:

– Как всегда-с... Только мысли бы ваши... Для понятия нам-с... Сколько взять-с...

Чуть поморщась, он заверил отрывисто:

– И мысли скажу.

Хозяин засуетился, угадав, что именно неприятно ему:

– Вы нас извиняйте, Иван Александрыч, ваше превосходительство. Коммерция. Так мы без ошибки хотим-с...

Он коснулся края шляпы рукой и пошел:

– Рад служить.

День растаял серея. Ветер утих. Под ногами ярче горели огни от витрин. Расплываясь, исчезли дальние дали. Густела толпа. У широких дверей кабака теснился народ, криво звенели нетрезвые голоса.

Город, Город...

## Глава шестая

### Невольная встреча

Повернувшись направо, пройдя мимо вокзала железной дороги, он улыбнулся грустной улыбкой, подумал было о том, как странно явился сюда со своими мечтами, и чуть не наскочил на прохожего, в темной бекеше, преграждавшего путь.

Иван Александрович встрепенулся и, уже угадав, что это знакомый, опасливо взглянул в лицо, подходя и решая, нельзя ли мимо как-нибудь проскользнуть.

Перед ним, приветливо улыбаясь, стоял Никитенко, красивый, высокий, худой.

Глядя Никитенко прямо в лицо, что-то слишком уж медленно узнавая его, он подумал с тоской, стоило ли стремиться сюда, чтобы нажить себе груды бестолковых бумаг, неподвижность, десятки ежедневно выкуренных сигар и затхлую духоту кабинета, то есть всё то, что неторопливо, но верно убивало его. Разве он всё ещё тот, каким был? Обоженные опытом, источенные анализом, обтрепанные, даже смешные, приутихли мечты. И уже ничего не изменишь, даже если бы захотел изменить.

Он скорее ощутил, чем подумал всё это. Никитенко уже некрепко пожимал его вялую руку и говорил возбужденно, хитро блестя из-под нависших бровей глубоко запрятанными небольшими глазами:

– Это вы?

Уже возвратившись к реальности, Иван Александрович ответил с всегдашней наигранной вялостью и шутивостью в тон:

– Это я.

Не позволяя пройти, хотя он уже и не пытался сбежать, наперед зная, что от Александра Васильевича всё равно не сбежишь, надеясь, раз уж так вышло, узнать все последние новости, Никитенко воскликнул, вертя в воздухе беспокойной рукой, с любопытством оглядывая его:

– Откуда?

Рассеянно глядя перед собой, дивясь наивной бестолочи вопроса, точно тот, тоже цензор, не знал, что в конце месяца творится в цензуре, он сообщил простодушно, скрывая усмешку:

– Из дома.

Вечно невнимательный к людям, не угадывая этой усмешки, часто переступая большими ступнями, точно танцуя ритуальный танец какого-нибудь африканского племени, Никитенко со значением и поспешно спросил:

– Из дома, куда?

Помолчав, он ответил, сам определенно не зная, куда именно шел в этот час:

Гуляю.

Надвигаясь на него легким непоседливым телом, с возмущением поднимая широкие мрачные брови, Никитенко досадливо протянул:

– Счастливцев! У вас для моциона всегда времени сколько угодно!

Иван Александрович поглядел на него долгим укориженным взглядом, однако отозвался спокойно:

– Представьте, именно об этом я только что размышлял.

И приложив к шляпе руку, шагнул в сторону и неторопливо, размеренно, сердито опираясь на трость, двинулся дальше, чувствуя себя сиротой, стараясь поскорее уйти, чтобы не слышать ещё новых упреков в безделье, на которые Никитенко бывал особенно щедр, но тот не мешкая поворотил следом за ним, словно и сам собирался проследовать в обратную сторону той, в которую только что шел. Как только заметил это движение украдкой брошенным взгля-

дом через плечо, Иван Александрович попытался будто ненарочно затеряться в толпе, вновь подумав с тоской, что напрасно пытался, что от Никитенко ни за что не уйдешь.

В самом деле, Никитенко настиг его в несколько порывистых широких шагов, бесцеремонно поймал его под руку, очень низко склонился над ним и обиженно прогудел:

– А я сбиваюсь с ног, как всегда.

Не отнимая руки, он посоветовал от чистого сердца:

– Да вы бросьте всё это, одни пустяки.

Дергаясь в одно мгновение потемневшим лицом, неловко сбиваясь с ноги, Никитенко возразил не то с важностью, не то виновато, каким-то приглушенным таинственным голосом:

– Я бы и рад, да невозможно никак! Помилуйте, каждый номер газеты читаю как новый роман! Теперь, в наши дни, открывается, как ужасны были прошедшие сорок лет для России! Администрация в хаосе!

Сменив ногу, отстраняясь от мягких толчков то в бок, то в плечо, он меланхолически уточнил:

– Наша администрация всегда была в хаосе, а всё ничего.

Сурово нахмурясь, продолжая держать его цепкими пальцами, точно страхась, что отпусти – он непременно сбежит, Никитенко, приходя в возбуждение, настаивал на своем:

– Нравственное чувство подавлено сверху и снизу, во всех слоях общества, кого ни коснись!

Замедляя с сознанием обреченности шаг, всё тяжелее опираясь на трость, он тем же тоном поправил его:

– Нравственное чувство и вверху и внизу никогда не было на уровне евангельских заповедей, что ж нам теперь... Да это и хорошо. Открывается возможность развиваться, идти, а стало быть, жить.

Никитенко продолжал воодушевленно и пылко, не слушая или не слыша, таща его за собой:

– Умственное развитие остановлено!

Поневоле двигаясь несколько боком, он невозмутимо протестовал:

– Ну, умственное-то развитие и всегда плелось не спеша. Да оно, полагаю, и не может иначе, так сказать, против законов природы валить.

Однако Никитенко никогда не останавливали никакие резоны:

– Чудовищно выросли злоупотребления и воровство!

Он смотрел себе под ноги, опасаясь споткнуться, и часто вздыхал:

– Да у нас не воровали когда? Меншиков, вспомните, воровал. Потемкин. Орлов...

Не дослушав длинного списка, который он хотел продолжать, Никитенко ткнул острым пальцем перед собой:

– Вот именно! Всё это плоды презрения к истине!

Он поглядел с опаской на длинный палец, похожий на гвоздь:

– Что справедливо, то справедливо: истина им...

Палец судорожно взметнулся и опустил несколько раз:

– Вот оно – следствие слепой веры в одну материальную силу!

Он примиряюще протянул:

– Так ведь сила она, сладить с ней нелегко.

Палец исчез, и на место его взметнулся грозный кулак:

– С этими безобразиями настало время покончить! Вы слышите! Навсегда!

Он хотел было заметить, что не здесь же со всем этим кончать, посреди улицы, на бегу, но только сказал:

– Александр Васильевич, милый вы мой...

Никитенко рубил и рубил кулаком:

– Необходимы новые идеи, новые лица!

Он попытался освободить свою руку, зажатую точно тисками, надеясь, что его рассерженный спутник слишком занят своими проектами искоренения очевидного зла, чтобы поминуть ещё и о таком пустяке, с намерением по-стариковски брюзжа:

– Ну, мы-то с вами стары совсем, да и новых что-то никого не видеть.

Однако Никитенко поймал его и стиснул так, что стало больно руке:

– Ну, знаете ли, Иван Александрович, эти ваши слова, думаете, уж очень оригинальны?

Не думая этого, он с иронией намекнул:

– Мои-то, положим, и нет, а вот ваши слова...

Никитенко с мрачным видом отрезал, как отрубил:

– Я рассуждаю, как нынче рассуждают решительно все!

Он было начал, шевеля пальцами, опасаясь, как бы не остановилось движение крови в руке:

– Любопытно бы знать...

Никитенко с негодованием спросил и сам же ответил себе:

– Отчего, между прочим, у нас так мало способных государственных деятелей? А оттого, что от каждого из них всегда требовалось одно и одно! Что именно? А вот что! От них требовалось не искусство в исполнении государственных дел, а безоговорочное повиновение, так называемые энергичные меры, чтобы им, в свою очередь, прочие повиновались так же безоговорочно и все делали одно только то, что прикажут. Такая система, лишённая собственной мысли, не могла образовать людей государственных! Всякий, принимая на себя важную должность, думал и продолжает думать только о том, как бы удовлетворить этому важнейшему требованию, и умственный горизонт поневоле сужается в самую тесную рамку. Тут нечего рассуждать! Остается лишь плыть по течению!

Ему наконец удалось придержать Никитенко, в слабой надежде, что тот ослабит свою цепкую хватку, пошел спокойней, ровней, интересуясь с беспечным видом сгучающего бездельника:

– Нынче, что же, простите, повиновение отменено?

Никитенко круто остановился, в самом деле ослабив длинные пальцы, но всё не выпуская руки, заглядывая ему прямо в глаза, укоризненно восклицая:

– Нынче многие начинают говорить о законности, даже о гласности, о замене бюрократизма более правильным отправление дел. Многие полагают, что на место повиновения пора поставить умение знать и понимать своё дело! Лишь бы всё это не испарилось в словах! Русский ум удивительно склонен довольствоваться словами вместо практического осуществления самых очевидных и здравых начал. Нынче всем нам, мыслящим людям, предстоит собрать все наличные силы и дружно сосредоточить на этот переворот!

Все эти поспешные, отрывочные рецепты спасенья отечества нисколько не удивляли, скорее смешили его. Много пафоса, много задора, много хороших, честных идей. Бегать, кричать, где случится, даже на улице, негодовать, предлагать прохожим замечательные проекты самых неотложных, вполне разумных реформ, не размышляя о том: а дальше-то что?

Иван Александрович выслушивал такого рода проекты лет уж двадцать подряд, то от одних, то от других, в последнее время от Никитенко чаще всего. Проекты почти не менялись: законность, самостоятельность, честность – а неторопливая русская жизнь продолжалась по-своему, без честности, без самостоятельности и без законности, цензура правительства, цензура денег во всем и на всем.

В его душе закипало неизъяснимое озорство. Подобные монологи он приучился выслушивать молча, всегда и везде, искусно делая вид, что весь ушел в свои мысли, что занят исключительно только собой, своим пищеварением и своими мозолями. Его молчание действовало на ораторов отрезвляюще. Ораторы принимались возмущаться его равнодушием к великим и

вековечным вопросам, махали с досадой рукой и поспешно оставляли его. Однако прогулка и свежий воздух его оживили. Ему так захотелось развлечься после накопленной в две недели усталости, словно что-то чесалось, зудело в душе.

Своей проверенной маски он не снимал. Застылое лицо оставалось безучастным и важным. Только интонации неторопливого негромкого голоса становились всё выразительней. Будто бы с удивлением приподнимая светлые брови, тоже глядя Александру Васильевичу прямо в глаза, он напомнил с небрежной серьезностью:

– Мы их собираем... то есть наши наличные силы... то у Донона, то у Дюссо.

Слушая по-прежнему невнимательно, урывками понимая лишь то, что желалось понять, Никитенко сорвался неожиданно с места, дернув его за собой, согласно закивал головой и заговорил негодуя, быстро, глотая слова:

– Именно, именно! У нас ужасно трудно отыскать способных и в то же время честных людей! До сей поры таких людей не хотели, теперь вынуждены кое к кому обратиться, но нам ещё не хватает, совсем не хватает умения! На днях я беседовал с Вяземским. Говорили о многом, касавшемся нашего министерства. Друг Пушкина, прежний член “Арзамаса”, знаменитый поэт, товарищ министра народного просвещения, чего бы ещё? Но вот беда: с делами князь ало знаком, белоручка, барин, аристократ, соглашается со всем и со всеми, кто бы и что бы ему ни сказал, и не делает ничего, и всё у него остается, как прежде!

Он рассмеялся своим негромким вялым смешком:

– А вам надобно, чтобы князь не соглашался ни с кем и ни с чем?

Никитенко сердито отрезал, не поворачив головы, оглядывая зорким взглядом толпу, точно кого-то искал:

– Интересы общего дела важнее того, что лично мне надо или не надо!

Он беззлобно подумал, что в интересах нашего общего дела Александр Васильевич служит местам в четырех или даже в пяти, зарабатывая до двадцати тысяч в год, с казенными дровами и с казенной квартирой, и рассудительно произнес:

– К сожалению, поэты не всегда понимают в делах так хорошо, как в искусствах.

Никитенко отмахнулся свободной рукой:

– Мы можем быть на столько развиты и деловиты, на сколько нам позволяют условия общественной жизни!

Он знал, с какой страстью любил Никитенко подобные пышные афоризмы о том, что мы можем и что мы должны, хотел было заметить, что самому Александру Васильевичу доставало деловитости устраиваться при любых обстоятельствах если не роскошно, так сносно, однако, не умея нарочно оскорблять человека, сделал значительное лицо и в тон ему важно изрек:

– Очень жаль, впрочем, для дела и для поэзии это было бы равно полезно.

Поправляя высокий картуз, вновь сбиваясь с ноги, Никитенко продолжал сокрушаться, точно не слышал его:

– Условия общественной жизни у нас таковы, что ни на кого положиться нельзя. Общество утонуло в апатии, в пустоте. Шевелить его перестали даже непрестанные толки о бездарности наших прежних и новых министров. Мне иногда, право, кажется, что я среди мертвых. Николай Васильевич был прав, решительно прав: кругом нас мертвые души! И приходится всё и везде самому, самому! Когда же всякий сознательный гражданин начнет честно исполнять свой гражданский долг перед обществом?

Склонив голову на плечо, немного откидываясь грузным телом назад, чтобы Никитенко трудней стало беспрестанно дергать его, он с сокрушенным видом ввернул:

– Видимо, мы все и честны ровно на столько, на сколько нам позволяют условия нашей общественной жизни.

Поворачиваясь к нему на ходу, блестя укоризненными глазами, Никитенко возмутился, на этот раз как-то сквозь зубы:

– Понять не могу, уже столько лет, как это вам, с вашей-то образованностью, с вашим-то образом мыслей, удастся не вмешиваться решительно ни во что!

Упрек был так неожиданен и так несправедлив, даже несколько груб, он бы сказал, ведь Александр Васильевич, грома вообще безнравственность и бесчестность, в личных сношениях бывал деликатен и сдержан. Он было вспыхнул, хотел горячо возразить, да успел догадаться, что добрый и впечатлительный профессор российской словесности возвращался, должно быть, с какого-нибудь преважного и превысокого заседания, которые до страсти любил, на которые возлагал постоянно большие надежды и которые по этой причине старался не пропускать никогда, насколько позволяли хлопотливые обязанности инспектора, цензора и преподавателя в нескольких заведениях, потому-то и был чересчур возбужден, чтобы выбирать выражения и спокойно гулять перед сном.

Такого разумного толкования оказалось довольно, чтобы молча снести и большую несправедливость и более откровенную грубость, да и приятельство, окрепшее за много лет, обязывало же, что там ни говорите, прощать, своего рода христианская добродетель, и он без усилий простил, однако в ранимой душе, тоже доброй и впечатлительной, расплзалась горечь вечного непонимания, которое трудно переносилось и бывало обидно именно потому, что не понимал его старинный приятель, если не друг.

Иван Александрович неприметно высвободил свою руку из-под ослабевшей руки Никитенко и полюбопытствовал коротко, напустив, как всегда, дремучую безучастность:

– Во что бы я мог вмешаться, пожалуйста, вразумите меня.

Глаза Никитенко так и вспыхнули вдохновением:

– Помилуйте, да во всё, решительно и несомненно во всё! У нас воровство, неправосудие дикое, дикий обман! Мы бороться должны, бороться ежедневно, ежечасно, ежеминутно! В противном случае всей нашей мерзости не наступит конца!

Такого рода призывы он тоже слышал давно, не иначе, как целую жизнь, и с призывами был согласен вполне, даже казалось ему, что его-то можно бы было не призывать.

Он согласно кивнул и пожаловался, придавая чистосердечие ровному блеклому голосу:

– Да, в этом вы правы. Кругом безобразия. Нехорошо-с. Федор пьет, того гляди оставит без шубы.

Никитенко попался, возражая ему с озабоченным видом:

– Постойте, вы же себя приучаете к холоду, и без того без шубы всегда.

Ага, он про себя усмехнулся злорадно и к чистосердечию подпустил ещё и слезы:

– А все-таки жаль. Шуба-то не пустяк. Из Якутска на себе притащил. Золотистая, теплая белка. Рублей на шестьсот.

Наконец вполосившись, Никитенко с досадой, с гневным упреком его перебил, размахивая рукой, точно ударить хотел:

– Что ваша шуба! Неужто вам ничего иного не жаль? У всех на глазах обворовывают Россию! Всякое должностное лицо без зазрения совести набивает потуже карман! Без взятки не сделать пустейшего дела! Законами помыкают, как вздумают! Вот куда необходимо направить усилия! Вот против каких безобразий бороться словом и делом! А вы заладили: шуба, белка, Якутск

Озорство оживило его. Ощувив наконец, что снова живет, он поддакнул тоном совершенной наивности:

– Ну, словом-то я, пожалуй, не прочь, да только едва ли воры поймут, они понимают только меры решительные, каторгу или что там ещё... В этом вы, разумеется, правы. У вас голова... Однако, позвольте сказать... я в некотором роде не полицейский, в каторгу никого не могу... Так вот изъясните, как же действовать делом-с?

Поскользнувшись, взмахнув суматошно руками, Никитенко поморщился, придерживая картуз:

– Вы шутите всё, хоть умри! “Шутить! И век шутить! Как вас на это станет!”

Он с удовольствием подхватил, от души веселясь:

– “Ах боже мой! Неужли я из тех, которым цель всей жизни – смех?”

Нахлобучив поглубже картуз, не глядя под ноги, Никитенко упрямо твердил:

– Иван Александрович, дорогой, умоляю, перестаньте паясничать, отдайте себя на борьбу с пороками нашего времени, а дело найдется всегда, если дела хотеть!

Подумав, что свалится, не поддержать ли его, он поддакнул угодливо, заметно сторбившись на ходу, точно оправдывался перед высоким начальством:

– Пороки-то вечные, жаль, а я бы и рад, по вашим стопам-с! Вразумите, молю!

Никитенко вдруг поймал его под руку и потащил за собой:

– Это всё отговорки, всё вздор! Пользуйтесь всяким предлогом для дела, не вас вразумлять.

Эта мысль его точно ошеломила:

– Верно... Позвольте, позвольте... Удивительно, удивительно справедливо... Всяким предлогом... А как?

Никитенко шагал широко, полуобернув к нему узкую голову, осененную меховым картузом, отрывисто бросая слова:

– Вот пример! Давеча был у министра! Авраам Сергеевич просил высказать мнение, когда речь зашла о разрядах. Я прицепился к этому слову и высказал тотчас, в каком положении находится министерство. Оно в положении безнадежном!

Он улыбался, уверенный в том, что Никитенко, увлеченный своими идеями делать дело пустыми словами, не приметит улыбки. В этой смешной безобидной игре, в этом бессмысленном обмене тенями мыслей, который не вел ни к чему, отступали на время его вседневные горести. Куда-то провалились оттиски бессчетных статей, пропали редакторы, авторы, параграфы цензурных уставов. Усталость, понемногу смягчаясь, отступала всё дальше. В теле и на душе появлялась долгожданная легкость.

И он соглашался с одушевлением почти неподдельным, поддакивал кивком головы, сочувствие, одобрение – проскальзывало в его пониженном, меланхолическом голосе, пополам с беззлой насмешкой, не позволяя самому разобрать, где шутил, где возражал, где соглашался всерьез, бог с ним, ведь это одно развлечение, то есть совершеннейший вздор.

Картинно выбросив трость, шутовски подражая кому-то, он спросил с лукавой искрой восхищения:

– И вы, разумеется, указали кардинальные меры?

Никитенко с достоинством улыбнулся, смешно дернул носом и вытянул длинные губы вперед:

– Для восстановления кредита доверия я предложил взять почин в предстоящих по министерству делах.

Сделав вид, что не понял, о каком кредите шла речь, он изумился почтительно:

– Я даже не полагал, что вы учились и по финансам!

Он споткнулся на слове “учились”, вдруг сам себя оборвав, что такого рода насмешки были уж чересчур. Разумеется, Никитенко своими трудами выбрался из крестьян и до многого, слишком многого доходил самоучкой, чего-то важного вовсе не знал, кое-что из того, что действительно знал, знал поверхностно, понаслышке, кой-как и грешил излишней самонадеянностью, так свойственной как раз самоучкам, в особенности которые именно выбрались из крестьян. Разумеется, всё это бросалось в глаза, в иных случаях даже с избытком, приводя к мелкой суетности, обрекая на неудачу почти все его начинания. Разумеется, Никитенко любил и похвастать собой, и поучить, хоть бы на улице, и с серьезным видом пораздуть пустяки.

А он сам? Разве для него всё на пиру жизни было готово и подано?

К тому же, был Никитенко не глуп, был очень добр, был искренне честен и от чистого сердца порывался хоть что-нибудь сделать против обмана и воровства бесконтрольных властей, ненавидя наши неумелые, неумные власти своей униженной, оскорбленной, крестьянской душой.

Ради искренности, ради честности и доброты не стоило бы так грубо смеяться над его самонадеянной болтовней, и совсем уж было грешно намекать, какими трудами давался Никитенко камень науки.

И он был уверен, стыдясь и краснея, что Никитенко, разобравши насмешку, обидится наконец, может быть, обидится навсегда. Он готовился принести свои извинения. Он обещал себе придержать впредь свой несносный язык. Он даже шаг прибавлял, чтобы Никитенко не вертел головой, оборачиваясь то и дело к нему.

Однако Никитенко либо не расслышал злого намека, либо, весь погрузившись в мысли и планы, пропустил его мимо ушей, либо со свойственной ему добротой не стал обижаться и сказал мимоходом, просто, деловито и громко:

– Вы же знаете, что финансам я не учился. Я не о том.

Ах, как он был благодарен за этот простой необидчивый тон! Ему сделалось вдруг необъяснимо и жутко. Кровь прихлынула к голове и будто остановилась на макушке под шляпой. Всё так и обмерло в нем. Он Ощущал, что краснеет неприлично, жгуче, по-детски, выдавая себя, так что Никитенко, если не догадался, так догадается непременно, что в его неспешных ответах кроется какой-то намек. Он точно споткнулся и вздохнул тяжело, недовольно ворча:

– Прошу вас, не бегите, я задыхаюсь.

Укоротив свой длинный стремительный шаг, подлаживаясь под него, даже несколько семеня, Никитенко заключил как ни в чем не бывало:

– В общем, было бы только желание, а в предметах деятельности недостатка не будет.

На душе отлегло. Он подумал, что впервые за эти последние дни испытал нормальные чувства: благодарность и стыд.

Он только работал, работал, исполнял, дотошно и честно, общественный долг, до предела напрягая свой мозг, копаясь в делах, которые, в сущности, до него не касались. Он был механизмом, машиной, паровиком с добротного английского парохода. Поршни двигались, клапаны открывались и закрывались, пар вырывался, грубы сырых корректур перемалывались, как груды нортумберлендского угля, но было решительно наплевать, кого ему приказали взять на борт, хотелось только как можно скорее дойти до причала и сдать с рук на руки надоедливый груз. Он был высушен, выжат, разбит. В нем нормальная жизнь обмерла, как пропала. Он не испытывал никаких человеческих чувств, всего лишь бледные искорки жизни, когда Федор топтался в дверях, приезжал изъясняться Краевский или Анна Павловна щебетала о погоде и возрасте, однако и те последние, жалкие искорки мешали упорно сжигать свой каменный уголь и поршнями мозга перемалывать чужие статьи. Он сердился, он злился на вызывавшие досаду помехи, а ведь только они ворошили в душе его жизнь.

Что делать, это было непоправимо, хотя скверней механического труда быть ничего не могло, вот он и обрадовался слабому проблеску жизни, жалея только о том, что внезапная вспышка будет короткой.

Он замешкался, размышляя об этом, и торопливо поддакнул, стараясь смягчить свой обычный иронический тон, замечая, что это не удается ему:

– Без сомнения, ваш почин в предстоящих делах оживит министерство, канцелярия пустится работать без перерыва и этим несколько восстановит утраченное доверие.

Никитенко удовлетворенно кивнул и с новым увлечением поведал ему, по-прежнему старательно семеня рядом с ним:

– Реформы намечаются, вот что я вам доложу, много важнейших реформ! Щербатов читал мне кое-что из своих предложений об улучшении начальной и средней школ. Его идея: поменьше формалистики, побольше сути.

Он знал Щербатова ещё помощником попечителя учебного округа, тоже когда-то верил охотно его добрым намерениям, однако верить давно перестал и не мог не без колкости отозваться о нем:

– Человек он серьезный, возьмется хлопотать о сути и прикажет учителям учиться по-новому.

Никитенко одобрительно подхватил:

– Вы правильно понимаете всякое дело! Я ему сказал то же самое! Я сказал, что учителям надобно открыть новые источники просвещения. Он мне ответил, что станет хлопотать об увеличении жалованья, тогда учителя сами возьмутся за книги. Однако страшусь, что в министерстве его не поймут, несть бо там ни ума, чтобы мыслить, ни воли, чтобы творить.

Не сдержавшись от неожиданности такого проекта, он усмехнулся:

– Даже напротив, в министерстве достанет ума накинуть учителям рублей по пятнадцать, не спросясь, достанет ли такой суммы на книги, а спрашивать с них начнет рублей на сто.

Должно быть, не находя нужным останавливаться на таких пустяках, Никитенко бойко докладывал дальше:

– У военного министра было совещание об кантонистах. Он – председатель комитета, я – член. Говорили о будущих наших занятиях и согласились о главном. Думаю, что наконец заседания окажутся плодотворны.

Он размышлял, шагая размерено рядом, уже не пытаясь попасть в ногу с ним, что именно этим способом он решительно портит отношения почти со всеми людьми. Он не способен не видеть этой вечной наивности в разрешении важнейших общественных дел, не может не видеть самомнения и заблуждений, и ему не всегда удается кстати смолчать. И то ещё хорошо, что его замысловатые колкости понимают не все, в противном случае давно перестали бы с ним разговаривать. Уже и перестают понемногу, того гляди, чего доброго, перестанут совсем и ему придется неделями, месяцами, возможно, годами молчать да молчать. Каково-то станет ему?

В самом деле, кто же был его истинным другом?

О такого рода вещах он себя допрашивал редко, то ли из прирожденной застенчивости, то ли из смутного страха обнаружить в душе своей что-то уж очень непривлекательное, то ли из чувства вины, и этот вопрос больно задел его за живое.

В основание дружбы полагается бескорыстное восхищение другим человеком, точно так же, как в основание чувства любви, а понимание, пронизательность с неумолимостью губят и ту и другую. Угадывая тайные мысли, проникая в движение чувств, чаще всего открываешь одни недостатки. От себя такого рода открытий не спрячешь. Надобно с ещё большей пронизательностью обнаруживать собственные грехи, чтобы снисходительно относиться к чужим, но деликатности, гуманизета достаёт далеко не всегда, чтобы скрыть, что читаешь, как раскрытую книгу, чувства и мысли друзей.

Какие бывают последствия этой способности видеть и проникать? Последствие бывает одно: друзьям ваша способность всегда неприятна. Редкий из них её может понять, ещё более редкий способен простить. Отношения запутываются от этой способности видеть и проникать, с одной стороны, а с другой стороны, от уязвленного самолюбия. И холодеют. И портятся день ото дня.

С ним такие истории приключались не раз. И дело только и в то, что многих он видел насквозь? Что говорить, он принимал самые строгие меры, чтобы соблюдать деликатность со всеми, однако, во-первых, это благое намерение не всегда удавалось исполнить, он это знал и за это стыдился себя, а во-вторых, и с этой стороны его подстерегала беда: скрывая то, что видит насквозь, он напускал на себя вялость и лень, точно ему решительно безразличен весь

белый свет, лишь бы как-нибудь не выдать себя, и о нем судили по его сонливому виду и принимали вовсе не за того, кем он действительно был. Он слыл вялым, равнодушным ко всем, ко всему. За его будто бы равнодушие многие не любили его. Страдая от общей ошибки на его счет, он частенько разыгрывал шутника, в самом деле любя пошутить, но и шутки нет-нет да и выдавали его проницательность, и многие опять-таки сторонились его, из понятного опасения попасть ему на язык. И чаще всего он молчал, но если все-таки начинал говорить, не всегда умел остановиться в нужный момент.

Поймавши себя, что язвит всё больней, он поспешно напомнил себе, что встреча с Никитенко скорее полезна, чем обременительна для него, поскольку в какие-нибудь полчаса он без труда узнает все закулисные новости Города, всё, что стряслось за последние две-три недели, что напыщенные суждения Никитенко абсолютно невинны, хотя и смешны, что своей глупой колкостью он только испортит отношения с ним, отношения и без того прохладные и неблизкие, да озорство, должно быть, закусило уже удила, и он каким-то совершенно выцветшим голосом произнес:

– Вы непременно учредите новый устав.

Держась очень прямо, шагая быстрее, странно выбрасывая худые длинные ноги, Никитенко самозабвенно повествовал:

– Позен тоже читал мне проекты. Его проект о необходимости начертать программу и определить систему управления отличается светлыми и, я бы сказал, основательными предположениями. Всё дело в том, что нынешние формы он принимает, но дает им другое значение. Жаль, что вы не читали!

Сам невольно увлекаясь быстрой ходьбой, разогревшись, глубоко и сильно дыша, он простодушно тянул:

– Не стоит жалеть, вы передаете прекрасно, всё понимаю и нахожу остроумным давать старым формам новое наполнение. Сие даст пищу умам. Может родиться новая философия о наполнении отживших форм не свойственным им содержанием. Интересно, поучительно даже. Форма рабства останется, а все мы вдруг станем свободны.

Они обогнали фонарщика, сгорбленного, с трясущейся головой, который с большим опозданием зажигал фонари. В надвигавшихся сумерках они тлели нерешительным бледным огнем, и вокруг огня висело расплывшееся опаловое пятно: это свет отражался в росинках тумана.

Они продолжали идти, и каждый говорил о своем:

– На университетском акте я говорил о многом, о чем прежде и подумать было нельзя. На попечителя намекнул. Некоторые поняли и после, смеясь, поздравляли меня.

– Давно бы пора осмеять. Надеюсь, после ваших намеков граф поумнеет.

– Вы видите, какое широкое поприще перед нами открыто! Вы жизнь не ставите ни во что и потому ни за что не хотите приняться и остаетесь в стороне от движения времени. Другие, напротив, придают жизни цену слишком большую, сочиняют множество планов и сетуют, что не исполнили их. Я, со своей стороны, полагаю, что жизнь ни слишком плоха, ни чересчур хороша для людей, каковы они есть, и потому берусь лишь за то, что непременно внедрится, вольется в новые органы и учреждения.

– Мы, стало быть, на пороге нового времени.

– Я прямо захлебываюсь в делах. И без того приходится тяжело, а тут ещё головные боли заели. И как не болеть голове, когда спать случается часа по три в сутки.

– Вот видите, и я бы хотел отоспаться.

– Вот-вот, вам бы всё спать, а я готов жертвовать и здоровьем для общего дела. Что ни говорите, все-таки выше счастья нет, как споспешествовать счастьем отечества.

Иван Александрович видел, что во всем выходил эгоист, а всё оттого, что ни в какие органы не вливал пустые проекты. Что было делать? Справедливости ждать? От кого? Он

равнодушным тоном сказал, лишь заменив ядовитого свойства вопрос на будто бы логически вытекающее утверждение:

– И по этой причине вы не поддерживаете меня в комитете.

В худощавом лице Никитенко явилась брезгливость:

– Я не могу, не желаю действовать так, как предпочитаете действовать вы! У нас должны быть твердые принципы! А как изволите вы поступать? Вы опускаетесь до интриги, до хитрости, прикрываясь будто бы видами общественной пользы! Если бы у меня и достало той ловкости, какой в преизбытке у вас, так этому решительно противится гордость и чувство достоинства, которые наполняют честную душу презрением ко всем этим пошлым маневрам. Да и стоит ли ваша игра этих свеч? Интриги остаются интригами, и добро, достигнутое с помощью их, выходит очень и очень сомнительным.

Он было начал своим стылым голосом:

– Помнится, Николай Васильевич переписал повесть о капитане Копейкине, которая вам показалась сомнительной, и спас этим “Мертвые души” для нас. Это хитрость, если хотите, и она обернулась добром и для него самого, и для нашей литературы, и для целого общества, а с вашими твердыми принципами, с вашей гордостью щепетильной и неуязвимым достоинством мы не имели бы “Мертвых душ” напечатанными, а могло статься, не имели бы вовсе, если вы помните второй том.

В нем, верно, сказалась усталость, которая несколько отступила, смягчилась, но всё ещё далеко не прошла. Невинное озорство заменилось вдруг возмущением, чуть ли не гневом. Чего не губит у нас подобная ложная праведность! И, больше не сдерживаясь, плохо владея собой, он перестал шутовски притворяться. Сонливое лицо внезапно окрепло, стало суровым. Только что мягкий, бесцветный, голос возвысился и зазвучал укоризной:

– У вас вот достоинство, гордость, а я по вашей милости то и дело остаюсь в комитете один против всех и молчу, хотя все ваши умники говорят про меня, что моим авторитетом я будто бы подавил всех коллег. Подавишь их, черт возьми!

Никитенко на ходу пожал его руку и серьезно сказал:

– Таким вы мне больше нравитесь, Гончаров! В конце концов, бросьте вы вашу апатию, ваши уловки и тонкости в комитете! Не к лицу они автору “Обыкновенной истории”, честное слово, совсем не к лицу!

А он таким себе не нравился вовсе и, уже сожалея о вспышке, бесполезной и глупой, унижавшей его, раздраженно, чуть не обиженно возразил:

– Благодарю за дельный совет. Я обдумаю его на досуге.

Никитенко примиряюще улыбнулся, обернувшись к нему:

– Буду рад возратить обществу вашу бесценную силу образованности, силу ума. Поверьте, милейший Иван Александрович, надо уметь желать, желать трудиться честно, умно, а вы окончательно заленились, мой друг.

Он сердито передразнил:

– Вот именно: не только честно, но и умно!

Никитенко как-то сбоку поглядел на него:

– А знаете, вы ужасно напоминаете мне Тимофеева!

Он чуть не с угрозой переспросил:

– Что-о-о?

Никитенко весело рассмеялся, видимо, ожидая именно такого или похожего восклицания:

– Не сердитесь, в ином напоминаете, разумеется, смысле.

Досадуя, что вдруг оскорбился дурацким сравнением, он проговорил, вновь пытаясь шутить:

– В каком же ином?

Никитенко с игривой легкостью зашпешил:

– Я не видал его лет пятнадцать, правду сказать, насилиу признал. Лицо точно распухло. Женился, говорит, взял за женой кое-что, бросил служить.

Браня, сердясь на себя, безуспешно пытаюсь взять себя в руки, он будто посетовал, будто простодушно и вяло:

– Мне бы жениться... найдите жену... проклятая служба заела...

Никитенко покачал головой:

Бросьте шутить, вам никогда не жениться. Бывало, Тимофеев, вы помните, уйму писал. Правда, процесс писанья, как я замечал, совершался у него сам собой, в роде животного отправления, всё само собой превращалось в стихи, стоило присесть без единой мысли за стол.

Он притворно вздохнул:

– И дает же Бог благодать.

Никитенко продолжал с увлечением, не обращая на него никакого внимания:

– И стихи выходили всё гладкие, вот что удивительно, даже со смыслом.

Он протянул сокрушенно:

– Талант, несомненный талант.

Никитенко выдержал паузу и сказал наконец свою шутку:

– Только, по-моему, без ведома автора.

Он словно мечтал:

– Мне бы так... насладиться поэзией, творчеством...

Никитенко возмущенно воскликнул:

– Насладиться? Да знаете ли вы, что творчество – это труд, труд и труд, а вы – наслаждение!

Он возразил:

– Позвольте, с физиологической точки зрения наслаждение творчеством одинаково с наслаждением от сигары и потому скорее отдых, чем труд.

Никитенко видимо сдерживал праведный гнев:

– Умоляю вас, умоляю: перестаньте кощунствовать! Хотя бы при мне! Наслаждение от сигары! Вы циник, циник! Но продолжаю: его стихами наполнялись журналы, было издано три тома его сочинений с портретом, вы бы помнить должны.

Он помнил, однако сказал о другом:

– Мне бы с Глазуновым договориться, но... без портрета.

На эту выходку Никитенко не стал отвечать:

– Нынче, когда в нем стали деньги, у него развилось такое странное направление: пишет и прячет в стол. “Что не печатаете?” – спросил я его. “Да так, – говорит, – ведь я пишу потому, что мне пишется”.

Он уже угадал, что последует далее, но ему не писалось, и он, словно с недоумением, протяжно спросил:

– А я-то здесь что?

Никитенко улыбнулся с выражением своего превосходства:

– И вы не пишете, оттого что не пишется!

У него вырвалось неожиданно, как ни приготовился он к подобному афоризму:

– А вы?

Никитенко воздел вверх длинный палец, похожий на гвоздь:

– А я всегда пишу, почти всякий день непременно. Другой раз никакая мысль на ум не идет, а я сяду за стол, голову обхвачу и жду терпеливо. Вы не поверите, бывает, что придумую что-нибудь часов через пять, это, разумеется, только по одним воскресеньям, в будние дни эдак не посидишь. Вот что значит настоять на своем, характер свой показать. Мысль добывают терпением! Без терпения, я вам доложу, не сделаешь ни-че-го!

Со всей этой дичью он никак согласиться не мог, однако с привычной вялостью произнес:  
– Вот и помогай вам Господь!

Никитенко торжествовал:

– Я знал, что вы согласитесь со мной! Между нами это самое главное, то есть то, что я умею вас убеждать! Только перестаньте вы затворяться! Вас нигде не видать! Я наше время необходимо действовать, как никогда, то есть появляться повсюду! Вас ждут!

Он неторопливо, без осуждения, без одобрения, думал о том, что Никитенко как поведует, так и поступает всегда, понемногу на всё одарен. Глядишь, посидит в комитете цензуры, взойдет на университетскую кафедру, к жизнеописанию без страсти любимого Галича приищёт ещё один документ. Но ни в один омут не бросится с головой. То на одном берегу посидит, то на другом, слушает шелест тихой волны, черпает прибрежный песок и с удовольствием держит в ладони, не пробуя зачерпывать с самого дна. Литература ни худа не увидит от него, ни добра, студенты не вспомнят ничем, жизнеописание Галича едва ли дотянется до конца, а трудолюбивый, прекрасный во всех отношениях человек, разновидность хлопотливых и дельных бездельников.

Он вдруг задумчиво произнес:

– Хорошо бы родиться сапожником.

Никитенко круто остановился и с искренним изумлением поглядел на него, приклонив голову на бок, трогая острым пальцем щеку:

– Это для чего же... сапожником... а?

Тронув его вежливо за руку, ведя его, в свою очередь, за собой, он ответил меланхолически, глубоко пряча вскипевшую злость:

– Получил бы заказ и стачал сапоги.

Никитенко в глубоком раздумье брел рядом с ним, широко раскрыв небольшие глаза, допытываясь нерешительно у него:

– Ну и что из того?

Ощувив, как напряглись все мышцы лица, стараясь выглядеть по-прежнему вялым, он объяснил:

– Романы писать – надобно вдохновение, долгий покой, огромные, оригинальные мысли, которые не являются, сколько ни торчи за столом, сколько голову в руках ни держи, в особенности, если при этом заседать в комитете цензуры.

Никитенко неуверенно подсказал:

– Вот Шиллер гнилые яблоки нюхал.

Он развел сокрушенно руками, сделав тростью своей полукруг, чуть не задев коротконового толстяка, с одышкой догонявшего их:

– Яблоки пробовал я.

Взметнув мохнатые брови, Никитенко наконец возмутился:

– Ну и ждите тысячу лет своего вдохновенья!

Он согласился покорно:

– Что поделаешь, стану, стало быть, ждать.

Несколько шагов они сделали молча.

День между тем растаял совсем. В фиолетовой тьме сделались ярче огни фонарей. Прохожих становилось всё меньше.

Вдруг Никитенко громко крикнул извозчика, приподнял в знак прощанья ворсистый картуз, легко вскочил на ходу и уехал в обратную сторону, точно растворился в слабо освещенном сумраке вечера.

## Глава седьмая

### Разбитые мечты

Иван Александрович не обернулся, не поглядел ему вслед. С намерением или нет, Никитенко больно ударил его, и удар пришелся в самое чуткое место, а он и без посторонних ударов испытывал вечную боль оттого, что вот уже десять лет не в состоянии дописать второго романа, который чем дальше, тем больше представлялся бесконечным, многозначительным и неодолимым.

Размышляя об этой неодолимости, унижавшей его, он становился противен и непонятен себе, так что не хотелось минутами жить.

Положим, он спешить не любил, умел выжидать, но он дожидался годы и годы. Положим, он мог бы ждать и ещё, ровно столько, сколько назначит судьба, однако в том и беда, что он больше не ждал, в душе его не осталось надежд. Он был глубоко убежден, что наслаждение творчеством, хоть и не равное наслаждению и от самой лучшей сигары, все-таки достается случайно, очень немногим, как роскошь, а стало быть, не является нормой, правилом жизни. Наслаждение творчеством истаяло, миновалось. Так нечего делать. Остается покорно жевать черный хлеб. К тому же и годы бесплодного ожидания давно убедили его, что до отставки он так и не выкроит нужного времени, чтобы неторопливо, со вкусом написать несколько сот, может быть, целую тысячу своих огромных страниц, кто их заранее мог сосчитать, а в двенадцать лет, которые остаются ему до отставки, старость скрутит, болезни согнут, так что многого не натворить у края могилы, к тому же с помраченным рассудком, так уж у стариков повелось.

Чего ж было ждать?

Тут он остановился и даже плюнул с досады, заметив, что миновал поворот к гостинице “Франция”, где имел привычку обедать, когда оставался без сил.

А всё Никитенко, всё болтовня!

Возвращаться назад ему не хотелось. Он подумал, что это, должно быть, тоже палец судьбы, размеренным шагом двинулся далее, поворотил минут через десять направо и зашагал вдоль Невы, мимо причаленных барж, доверху набитых дровами.

Этот путь было намного длиннее. Это сердило его. Однако хотелось скрыться куда-нибудь, лишь бы не встречать никого. Надо было побыть одному.

Трезвым, понимающим, без надежды, без веры в себя он стал лишь с годами.

Впрочем, трезветь он начал давно, ещё в юные годы, на Волге...

Город довершил остальное...

Город...

Иван Александрович стремительно поворотил в переулок, точно печальные мысли испугали его. Стая диких лохматых собак увязалась за ним. Он остановился и взмахнул воинственно тростью. Звери в испуге отстали, рыча на него, перегрызаясь между собой.

Он шагал всё быстрее, всё быстрее. Мысли о прошлом, неожиданно выплывая из тьмы, и горько волновали, и таинственно утешали его. Он увязал в этих мыслях, точно брел по сухому песку. Эти мысли всегда томились и теплились в нем. Утомительная работа их заглушала по временам, но в часы свободы и отдыха, когда он с болезненной остротой ощущал, как неслаженно и коряво бредет его жизнь, устроенная, казалось, так разумно и верно, они с каким-то странным упрямством выползали из своих тайников, в которых гнездились, набирали там силу и оттуда язвили его. Разумеется, он гнал эти мысли назад, но с каждым годом они становились сильнее и одолевали его.

Не удалось ничего...

А ведь как мало, как ничтожно мало было бы нужно ему!

Чего он, в самом деле, хотел?

С раннего детства, по своим слишком чутким, слишком впечатлительным нервам, не любил он ни шума ни толчеи, ни новых лиц и хотел бы жить тихо, уединенно, непритязательно, для себя. Давно его идеалом стала умеренность, воспетая ещё мудрейшим поэтом Горацием в древние, но тоже беспокойные времена, независимый кусок хлеба, спокойное исполнение гражданского долга, свободное от сторонних занятий перо и тесный кружок самых близких, понимающих, умных и добрых друзей.

Разве это так много?

Это было даже очень немного, но он твердо, без всяких уловок осознавал, что для него, именно для него, идеал этот недостижим никогда.

Где отыщет он такое исполнение гражданского долга, которое не отнимало бы уйму времени и не растрчивало бы до иссушения умственных сил? Где возьмет он независимый хлеб, который освободил бы перо от житейских забот и хлопот?

Такой службы не было нигде на земле, и взять независимый хлеб ему было негде.

Он должен был, он был обязан служить и отчетливо видел, что по этой причине годы идут, а перо не сдвигается с места. Наконец он возненавидел свою неизбежную службу, ненавидел всегда, каждый день, снося безропотно её жесткий хомут, недовольный собой, всё чаще впадая в хандру.

И он было воскрес, когда ему предложили цензуру.

Господи, он, как и прежде, исполнит свой долг перед обществом, но выберется из темного омута канцелярии! Он очистит свой мозг от едкой пыли убивающего всё живое бюрократизма! Он станет почти независим от нелепых капризов очередного директора и совсем независим от мелкой пошлости боязливо-расчетливых сослуживцев. Он сможет служить на диване, почти не выходя никуда, почти не встречаясь с теми людьми, каких смертельно не хочется видеть!

И тогда, и тогда...

Свои утренние часы, самые плодотворные, свежие, необгаженные никем и ничем, отведет он для своих неоконченных, в его воображении поистине грандиозных романов. Каждый день, волнуясь, любя, он сможет неторопливо, с удовольствием, с наслаждением трудиться над ними, разумеется, если будет здоров и спокоен. Он переправит и сам переписет готовые главы, и этот легкий, радостный труд вновь разожжет позабытое долгожданное вдохновение. День за днем, год за годом исполнит он то, что так счастливо задумал. И это уже хорошо. Но ведь у него загорятся новые замыслы. Он напишет пять или, может быть, десять, пятнадцать романов, сравнявшись хотя бы количеством с Диккенсом или Бальзаком.

А где-нибудь после обеда, прогулявшись по безлюдным каналам, хорошо отдохнув, он проглядит корректуры и рукописи, назначенные ему на просмотр, составит благосклонные отзывы, честно отработав плату за труд, и, застрахованный от хищных издателей для свободного, неторопливого, сосредоточенного, настоящего творчества, ещё попытается защитить от бездарного произвола прежних и новых подвижников бесценного русского слова, исполнив, таким образом, долг перед литературой и обществом. Всё происходило прекрасно и стройно в его великолепных фантазиях. Он позабыл извлеченную из опытов истину, что фантазия тем больший друг, чем меньше доверяешься ей, и тем больший враг, чем больше очаровывает её сладостный шепот. Благословенный расчет был, казалось, реален и трезв. Кто бы не соблазнился подобной гармонией жизни, где так естественно соединялись призвание с долгом? Кто бы не бросился в этот омут вниз головой?

И вот навалились тридцать три рукописных и три печатных листа журнальной продукции, которые оказалось необходимо в бешеной скачке просматривать по два, по три раза подряд, не считая не вошедших в номер статей.

Ему сорок пять лет.

Он чувствует себя стариком.

В долгий ящик отложены замыслы двух или трех исполинских романов, которые могли бы принести ему славу.

Энергия жизни убита на то, чтобы имелось необходимое, неизбежное, то есть крыша над головой, сигары и хлеб.

Долг исполнен исправно, да что душе его от исполнения этого скучного, в сущности, бесплодного долга?

И вот в его душе всё наболело, нарвало, измыкалось. Он больше не в силах справиться с темными, обычными в его возрасте мыслями, которые угнетают его, которые поминутно твердят, что стало незачем жить, потому что не вырваться уже никогда из бездонного омута государственной службы, никуда от него не уйти.

Только из гордости он не жаловался, не причитал, никому не показывал виду, как тяжело, как беспросветно бывает ему. Терпеливо нес он свое неистовое молчанье, появляясь холодным и замкнутым между людьми. Маска вялого безразличия, когда-то измышленная застенчивой мудростью, приросла безупречно к измученному лицу. Только эту плотную маску и видели все, и не понял никто, не угадал ни один, не смог представить себе, отчего он упорно молчит вот уже десять для него нескончаемых лет?

Казалось бы, так нетрудно понять, однако его донимали расспросами или жестокими сожаленьями. Уже стало привычкой пренебрежительно говорить, что от безделья он жиром заплыл, что обленился, заснул, что и сам он, должно быть, Обломов, не способный на упорный, продолжительный труд. Уже сделалось правилом с тайным злорадством твердить, встречая его, что он одичал, опустил, как тот, кого было начал так выразительно рисовать да, к несчастью, бросил свое золотое перо.

Одни с сердитым видом осуждали его, другие высокомерно потешались над ним, третьи задавали вопросы:

– Иван Александрович, где ваш “Обломов”?

– Иван Александрович, где ваш “Обрыв”?

– Иван Александрович, когда удостоите нас прочесть?

– Иван Александрович отчего положили перо?

– Иван Александрович, поглядите: Тургенев... поглядите: Григорович... поглядите: Писемский, Дружинин... глядите, глядите!..

Он передразнил, кривя рот:

– Иван Александрович, пожалуйста департаментом управлять!..

И огляделся по сторонам.

Оказалось, он уже вывернул на хорошо освещенную людную улицу. Мимо скользили тени прохожих, мчались тени колясок, саней. Воздух был заполнен голосами и звуками. Жизнь кипела вокруг, пустая, обыкновенная жизнь.

## Глава восьмая

### Старушка

Не останавливаясь, даже не замедлив мерного шага, Иван Александрович огляделся и был поражен: ноги сами несли его к дому, где бы он мог отдохнуть среди милых сердцу людей и предаться мирным, тоже пустым, наслаждениям.

Оставалось недалеко.

Тихая радость робко зарделась в одинокой душе.

Во всем шумном Городе он был привязан почти только к этому дому.

Лицо оставалось невозмутимым, походка неспешной, однако во двор он вступил с замиранием сердца, трепетавшим в груди.

Вверху было черно. Желтый свет сочился из окон и простынями лежал на снегу.

Почти машинально Иван Александрович концом трости пооббил сапоги и вступил в неосвященный подъезд. Его раздражали темные лестницы. Он заспешил и ударился правым плечом о холодную скользкую стену.

На втором переходе он задохнулся и долго стоял, хватая воздух открытым испуганным ртом, дрожащей рукой держась за перила.

Едва отдышавшись, он с нетерпением двинулся выше, успел кое-как поправить лицо и несильно дернул ручку звонка.

Его впустила румяная горничная в белой наколке на голове.

Он разделся и сам повесил шинель, уже слыша платье и мелкую дробь каблуков.

Потирая будто озябшие руки, он прятал глаза, чтобы они не выдавали его, а сердце стучало, стучало тревожно и громко.

Наконец навстречу ему порывисто вышла Старушка. Глаза и губы её улыбались. К нему дружески протянулась узкая худая рука.

Он галантно, бережно поцеловал её бледные пальцы, тут же охватывая её всю одним тревожным пронзительным взглядом.

Нет, красавицей она не была. Черты лица её были неправильны, резки, глаза выпуклы и велики, рот бескровный, большой, рост невысок, худа и слаба, ни светскости, ни аристократизма в стесненных движениях, ни изысканной роскоши парижского туалета, ни заученных фраз.

Тем не менее Иван Александрович, топчась на одном месте, поправляя поредевшие волосы, кашляя, любовался исподтишка этим открытым некрасивым лицом и угловатой хрупкой фигурой. Решительно всё восхищало его: нескладность и нежность, крупные ноги и неуловимая грация стана, простоватость и женственно-гибкий сострадательный ум, беспокойство и необъяснимая прелесть в каждой черте неправильного лица, нерешительность и доброта подвижного быстрого взгляда, застенчивость и твердость характера в этих туго сведенных бровях, угловатость и неиссякаемая энергия в порывистых сильных движениях.

Он не поднимал головы, не в силах справиться со своим восхищением.

Она быстро сказала, заглядывая снизу в глаза:

– Вы устали.

Да, она одна безошибочно проникала под маску, однако он не снял маски и перед ней, в один миг сменил её на другую, поднял беспечное жизнерадостное лицо и ответил небрежно:

– Пустое.

Она покачала с сомнением головой:

– Вы целых три дня не приходили обедать.

Он воскликнул, забывшись, растерянно и тепло:

– Вы считали!

Она глядела на него с удивлением, точно хотела сказать, что не могла не считать и что ровно ничего невозможного, необычного заключаться в этом не может.

Он вновь поспешно склонился к руке, пряча лицо и глаза, с трудом переменяя голос на шутовской:

Благодарю вас, но я не стою того, я вас тираню. Вместо того, лететь к вам каждый вечер, таскаюсь по ресторанам, с приятелями шампанское пью.

Она отняла руку, смеясь, с детской хитростью в больших открытых глазах:

– Не лгите, шампанского вы не пьете, приятелей у вас нет, не с кем вам шампанское пить.

Он лицо сделал строгим и хмуро ответил, мягко улыбаясь одними глазами:

– Вы не женщина, вы змея и жалите меня в самое слабое место, однако это у вас со мной не пройдет. У меня нет слабых мест, и у меня есть, можете представить себе, именно приятели есть. На зло вам, нынче я болтал с Никитенко, он мне поведал все закулисные новости нашей бурной общественной жизни, из первых рук, и на досуге мы с ним разрешили две или три из самых насущных проблем, так что дело пойдет, то есть что это я: поскачет галопом.

Ответным юмором засветились её большие глаза. Она взяла его под руку и повела по гостиной, совсем тонкая, совсем юная рядом с ним, такая близкая, недоступная, такая щемящая радость его.

У самых дверей кабинета она с веселой суровостью приказала ему:

– Ступайте к мужу, пока накрывают на стол, потом я вас стану кормить, хоть вы и не стоите этих хлопот.

Он склонил голову перед ней, сложил вместе ладони, как перед Буддой и покаянно воскликнул:

– Я не стою?!

Она подтвердила смеясь:

– Да, да, именно вы!

Тогда он с испугом спросил:

– Позвольте узнать, почему именно я – и не стою?

Часто моргая, отводя в сторону большие глаза, она принялась строгим тоном перечислять:

– Вы шут, вы обманщик, вы лжец, вы, я думаю, за всю вашу жизнь, даже, наверно, в пленках, не сказали правды никому ни полслова.

Откинувшись гордо назад, принимая картинную позу, он с разыгранным самодовольством изрек:

– Перед обедом вы должны мне это простить, обед меня может исправить.

Она спросила с искренним удивлением, расширив глаза:

– Отчего же обед?

Он с важностью разъяснил:

– Оттого, что сытому незачем лгать.

Она вдруг поняла и ответила в тон:

– Хорошо, в таком случае я прикажу прибавить закусок.

И легко ушла от него, только прозвенели ключи и негромко стукнула дверь.

Иван Александрович шагнул в кабинет.

## Глава девятая

### Старик

В кабинете ядовито пахло переполненной пепельницей. Владимир Николаевич Майков, прозванный с юных лет Стариком, отложил, едва он явился, перо, медлительно оборотился назад, переваливаясь в просторном кресле мягким расплывшимся телом, поздоровался одним вялым кивком головы и молча протянул коробку с дорогими сигарами, точно всё последнее время провел в ожидании, с кем покурить.

Иван Александрович пожал его руку, тоже поклоном поблагодарил за сигару и сел против него на диван.

Они закурили и долго молчали, клубами пуская дым в потолок.

Молчать со Стариком было приятно, легко. Странное возникало всегда впечатление: Старик молчал содержательно, глубоко, точно отрешась от земного, весь погружаясь в себя, как мудрейшие индийские йоги, серые небольшие глаза становились неопределенными, жидкими, похожими на подтаявший студень, гладкое, с круглыми щеками лицо расплзлось, чувственный рот приоткрывался задумчиво, нижняя, женственного рисунка губа значительно отвисала, и Старик обмирал в немом созерцании каких-то неведомых тайн.

Рядом с этой загадочно-онемелой невысокой круглой фигурой не хотелось ни думать, ни двигаться, ни, кажется, жить.

За это особенно, может быть, он ценил и даже по-своему любил Старика.

Сигара была, как всегда превосходной, и, благодумствуя над ней, впервые за последние сумасшедшие дни, Иван Александрович беспечно посиживал в уголке уютного мягкого небольшого дивана, с гнутой узорчатой спинкой, полузакрыв усталые глаза, наконец всей душой отдаваясь блаженному отдыху.

Он курил не спеша, точно лаская сигару, подолгу задерживая легкий приятный успокоительный дым, медленно выпуская тонкой длинной струей или приоткрыв слегка рот, ожидая, пока дым причудливым облаком не потянется вверх, делал долгие перерывы между затяжками и неприметно, без интереса ещё, скорей по привычке, наблюдал Старика, точно выслеживал, как индеец в диких зарослях выслеживает добычу или врага.

Неуклюжий, полный дряблого жира, скоро станет похожим на шар. Поредевшие тонкие волосы на небольшой голове. Безвольный, бесформенный рот. Ни одной резкой, решительной, сильной черты, ни своей, особенной выразительности, ни заметного, большого ума. Всё точно бы растеклось, как растаяло на жару. Медлительность, флегматичность, скупые слова. За все эти свойства родители и старшие братья прозвали его Стариком. Теперь Стариком звала его и жена. Только на службе он всё ещё оставался Владимиром Майковым. Сам ли он с такой полнотой соответствовал странному прозвищу? Прозвище ли так исказило его?

Не выдержав наконец, но не шевелясь, словно тоже застыл, Иван Александрович бессмысленно, на самом деле не думая этого, произнес, лишь бы нарушить звуком гнетущую тишину:

– Кажется, я помешал вам работать.

Пожевав неторопливо губами, подняв перед собой сигару свечой, Старик слабо вздохнул:

– Пустяки.

Он это знал, в этом молодом человеке ничего не менялось, как в Федоре, нечего было и ждать. Всё же он на всякий случай уверил его, деликатно подталкивая к труду:

– Я буду тихо сидеть, точно мышь.

Сосредоточенно помолчав, не то задумавшись над тем, что писал, не то размышляя, стоит ли продолжать, Старик затянулся сигарой, минуту назад поднесенной к губам, и медленно, как будто со страшным усилием отнял её ото рта.

Свечи горели тускло, вздрагивали натужно копыя огней, начинали коптить. Представлялось, что прокуренный воздух при желании можно было бы тронуть рукой.

Охваченный тишиной и покоем, может быть, чуть одурманенный после свежего воздуха улицы, Иван Александрович привольно откинулся на спинку дивана, блаженно вытянул ноги вперед, не думая ни о чем, наслаждаясь совместным бездельем, вдруг объединившим лентяя и труженика.

Изредка встрескивал нагоревший фитиль, издавывая, через двое или трое дверей, доносились мирные, хоть и повышенные голоса Старушки и горничной. Причудливыми облаками плавал табачный дым, навевая дремоту.

Побарабанив по ручке кресла, широкой, вольготной, как полозья крестьянских саней, неопределенно глядя перед собой, Старик тяжело вздохнул наконец и вяло спросил:

– Хотите ещё?

Он согласился:

– Пожалуй.

И приоткрыл один глаз.

Посидев, как обыкновенно, с минуту, отвалившись вперед, как будто мешок с кирпичом лежал на спине, кое-как дотянувшись до ящика, умудрившись при этом на вершок не сдвинуться с места, Старик выбрал длинную, светлую, с золотым ободком и тем же порядком подал ему.

Иван Александрович с удовольствием закурил и вторую, безучастно уставясь из-под ресниц на столбик голубоватого пепла, нараставшего, чуть шевелясь, на мерно тлевшем конце, минуты через три без всякого выражения определил:

– Недурна.

Не повернув головы, стиснув сигару зубами, Старик равнодушно посетовал:

– Ну, вас-то, учитель, едва ли возможно чем-нибудь удивить.

В этом доме он играл забавную роль мудреца, философа, эпикурейца, разочарованного, усталого, кроме наслаждений ничего иного не ценившего в жизни, которого невозможно ничем удивить, да и в самом деле удивить его было трудно, и он неспешно включился в игру, сделавши вид, что почти зевает в ответ:

– Что ж удивляться хорошей сигаре.

И насторожился: что? каково?

Однако же ничего: Старик бесцветно взглянул на него, едва-едва двинув шеей, и снова затих. Расслабленное лицо выражало не скуку, не мысль, а глубокую способность молчать хоть бы целые сутки, но и готовность, если вызовут, о чем-нибудь поболтать.

Что ж, если так, он беспечно курил, умышленно не давая темы для разговора, желая узнать, не накопилось ли каких-нибудь новостей, которые должны сами запроситься наружу.

Время тянулось, тянулось, и вдруг Старик начал раздумчиво, еле слышно, с долгими остановками в самых неподходящих местах, точно с грузом шел на подъем:

– Я вас, Иван... Александрович, помню... лет двадцать... И ни разу не... видел сердитым, озабоченным, удивленным, ну, хоть бы... чуточку не в себе. Крепкий вы... человек, камень... Вам всё нипочем.

Он смотрел сквозь ресницы, видя вместо лица шевелящееся пятно, думая про себя, что никакой он не камень, что ему слишком многое очень даже по чем и что частенько рыдал бы навзрыд, не держи себя крепко в руках, однако говорить всего этого не хотел, не умел и не мог и полюбопытствовал безучастно:

– Из чего ж бесноваться?

Каждое слово выдавливал так медлительно, так апатично, что Старик даже вздрогнул, вероятно, забыв, с чего начал сам:

– Что?

Он повторил ещё апатичней:

– Бесноваться, говорю, из чего?

Очнувшись примерно наполовину, выпустив дым, передвинув сигару, роняя пепел на брюки, Старик протянул:

– Жизнь готовит сюрпризы на каждом шагу.

Это пустое глубокомыслие, слышанное тысячу раз, не расшевелило его. Он ответил беспечно, наострив всё же уши, не выйдет ли путное что:

– Зная прошлое, зная настоящее, нетрудно мылящему человеку вывести будущее. Приходит лишь то, что должно было прийти.

Старик спросил лениво о том, о чем спрашивал тоже тысячи раз, не открыв глаз, не поворотив головы, как спрашивал и когда-то впервые:

– И удача, любовь?

Он подтвердил, сбрасывая пепел легким ударом ногтя:

– Разумеется, и они.

Тоже потянувшись к переполненной пепельнице, тоже сбрасывая короткий столбик пепла щелчком, Старик с сомнением протянул, забыв принять руку:

– Будто возможно предвидеть...

Подождав продолжения, что именно желал бы предвидеть Старик, разглядывая неудобную позу, повисшую в воздухе руку, точно рука была сама по себе, ничего не дождавшись, он бросил полшутя:

– Ну, разумеется, кроме, может быть, одного...

Сам взглянул не без удивления на руку, откачнувшись назад, устроившись поудобней, Старик полюбопытствовал только что не одними губами:

– Кроме чего?

Он улыбнулся лукаво:

– Кроме плода наших собственных действий.

Внезапная мысль показалась любопытной ему самому, и он дождался второго вопроса, чтобы обдумать её и развить, и даже немного подался вперед, точно подгоняя своего никуда не спешившего собеседника.

Однако Старик не спросил ни о чем.

Он с усмешкой подумал, откидываясь на спинку дивана, что так и должно было быть, что он бы испугался, пожалуй, загорись Старик такого рода идеей всерьез, и решил бы, что бедный Старик заболел.

Но Старик был здоров, вертел невозмутимо сигару, покачивал иногда головой, размышляя неизвестно о чем, погружаясь всё глубже в бездомный омут молчания, и неопределенные думы его обещали затянуться надолго.

Пожалев, что нового, как он и думал, ничего не стряслось, без ропота покоровшись судьбе, он тоже прикрыл дремотно глаза, однако, странное дело, блаженство покоя не возвратилось к нему.

Что-то мешало, и он подумал неторопливо, с откинутой назад головой, что бы могло беспокоить его, но причин не нашлось никаких, разве что нечем становилось дышать.

Он лениво поднялся и открыл настежь форточку, потянувшись на цыпочках к ней.

Струя свежего воздуха приятно дохнула в лицо, но он тотчас, боясь простудиться, отодвинулся в сторону от неё.

Дергались, колебались широкие копыя свечей, то падая, то выпрямляясь, мелко дрожа.

Старик, с блаженным видом вытянув коротковатые ноги, разглядывал вышитые носы домашних замшевых туфель.

Старика он изучал с самого детства, с той поры, как начал давать уроки у Майковых, сначала двум старшим, затем и ему.

Аполлон стал чиновником и поэтом, зажил благополучно, без громких радостей, без серьезных потрясений и бед, и он с беспокойством следил, как в одаренном поэте словно бы притуплялась отзывчивость, как в образе жизни, в манере держаться, в манере писать нарастала словно бы суховатость, проглядывал словно бы педантизм.

То есть смысл его наблюдений можно было бы выразить, может быть, так: талант креп, талант шлифовался, талант приобретал изысканность, тонкость, сухой аромат, однако вершины гениальных прозрений оказывались ему не по средствам.

Он остановился, споткнувшись на мысли о гениальных прозрениях. Это выражение как-то не шло к Аполлону... Заметное, что ли, большое... Нет, и это тоже не то...

Он отступил от окна, словно пытаясь найти более точное выражение тому, что вертелось на языке, снял, безотчетно, не глядя, с полки плотный маленький том, и вдруг книга раскрылась на заветной странице сама. Это было затвержено наизусть, это в нем осталось навечно, постоянно меняясь в ходе его размышлений, однако читать показалось приятней, и он медленно прочитал про себя:

Пока не требует поэта  
К священной жертве Аполлон,  
В заботах суетного света  
Он малодушно погружен;  
Молчит его святая лира,  
Душа вкушает хладный сон,  
И меж детей ничтожных мира,  
Быть может, всех ничтожней он...

Захлопнул, сердито бросил а стол.

Когда-то он пленялся этой пророческой мыслью. Эта мудрая мысль убеждала его, что и самым великим поэтам не суждено какой-то особенной, отличной от всех, феерической жизни, какую писали в прозе, в стихах молодые романтики с волосами до плеч, а следом за ними и он. Вовсе нет, существование и самых громких, самых гениальных поэтов большей частью бывает неприметно и буднично, каково оно и у самых обыкновенных людей.

Как и самым обыкновенным, великим поэта выпадает в удел суета, мелочные расчеты с квартирным хозяином, плохое пищеварение, даже мозоли и геморрой. Бывают они малодушны, бывают ничтожны, как все...

Да, в те далекие юные годы, сам возмечтав ни с того ни с сего стать поэтом, непременно великим, иначе нельзя, он старательно выбирал себе жизненный путь, разумеется, без сует и хлопот. Сделать такой выбор было довольно легко: Он мог бы остаться в сытом каменном доме, с любящей маменькой, с ещё более любящим крестным, мог бы всякий день что-нибудь сочинять, конечно, стихами, проедавая завещанный отцом капитал.

Это Пушкин, вдохнув свое мужество, его вдохновил. Он добровольно выбрал крест канцелярской работы, крест неприметного, бесславного служебного долга, на время этого самого хладного сна, и каждый вечер, воротившись из департамента, настороженно, с волнением ждал, когда же глагол откроется в нем и прольется божественными стихами.

И дождался в положенный срок. Душа встрепенулась. Явилась тоска. Он потянулся к бумаге, готовый умчаться из бренного мира в иной, поэтический мир.

И вдруг, прикованный к канцелярии, обнаружил, что не может оторваться от земной суеты, что сами собой опускаются усталые веки и руки, что ноет и вянет натруженная за день душа и что всё необъятней и горше становятся бессилие и тоска.

Что-то в этой философии приключилось не так. Ведь Пушкин и сам разбился о суету. Стоило Поэту встать на барьер, точно Он был заезжий француз. И не только ради суетной цели. Даже если бы имелась и высшая цель.

Весть о гибели Пушкина застала его в мышинных трудах канцелярии, и всё, что дозволялось ему по уставу, это выйти в коридор покурить.

Он вышел и закурил. На это ещё силы нашлись. И отвернулся к стене. Стена была обшарпанной грязной канцелярской стеной, какие-то бумажки висели а ней, а по его щекам струились безутешные, такие соленые слезы.

И очень скоро он перестал соглашаться с пророческой мыслью. Что-то более важное, более грозное приоткрывалось за ней.

Иван Александрович так увлекся, что позабыл обо всем, не думая, что он в гостях, что он не один. Прозаическая маска перестала держаться на свободно проступившем лице, перестала скрывать, что под маской постоянно кипела и билась необычная, неустанная, напряженная жизнь. Напускная сонливость сползла. Ни одна черта как будто не изменилась, Только решительней, крепче стали щеки, челюсти, рот, и зажглись мучительной страстью глаза.

Всё дело, видимо, в том, что возбраняется поэту быть ничтожным даже тогда, когда его лира молчит, что поэт обязан себя оберечь и в самом сладостном сне, обязан себя сохранить, соблюсти, обязан не измельчать, не измазаться в суете, не то какой же после зажжется глагол.

И беспощадная воля встала в иглистых глазах, и, стиснув зубы, он повторил про себя:

«Не смельчать, не смельчать... соблюсти...»

И глубокая складка залегла в переносье между бровей:

«Однако же как?..»

Он сжал кулаки:

«Суетные заботы точат и мнут... и кто устоял против них?..»

Он вдруг приблизился к портрету Старушки.

Её большие глаза молча глядели с холста.

Он бормотал почти в забытьи:

– Попробуй-ка устоять... соблюсти...

Услышал себя и поспешно опустился на прежнее место, заложил ногу на ногу, обхватил подбородок рукой, и лицо без маски было печально.

И всё же непостижимая гениальность в этих стихах... Нечто глубочайшее, вечное... Признак непререкаемый, верный, что гениальный поэт...

Да!.. Да!

Нечего спорить, Майковы были талантливы все, но у каждого талантливость проявлялась по-своему.

Аполлон с юных лет напустил на себя олимпийство, с брезгливостью избранника свыше презирал суету, старательно сторонился её, даже служа в департаменте, как и он, Искусству служил, как служили Богу святые подвижники, укрываясь в пустынях, в скитах, а ни глубины ума, устремленного в вечное, ни огня вдохновения, способного опалить, слишком благополучно, слишком бесстрастно, холодно всё, точно насильно возвышенная душа ко всему равнодушна, нет силы могучей, нет крови живой в классических строгих стихах.

Валерин был горяч, энергичен и быстр, весь в нездешних высоких мечтах, только этому он и сумел показать, что корни человека все-таки в грешной земле, что тут и таится для всех испытание, и Валериан уже начинал понимать глубоко, мог в критике основать свою самобытную школу, однако ж созреть не успел, случилась беда.

А этот, младший, Владимир, Старик, не волнуемый никаким вдохновением, тоже Майков, то есть с верным глазом и с хорошим пером, как-то неприметно стерпелся с ролью чиновника, с положением мужа, с прозаическим бытом семьи, не лелеял, не холил свою одаренность, кое-что прочитал, пописывал иногда в «Библиотеку для чтения», любил музыку, а всё, что ни

делал, выходило жидким, без цвета и запаха, и вот впереди ждет апатия, отупение, может быть, и запой.

Он вытянул плотно сжатые губы, точно хотел посвистать, вдруг обнаружив себя в столь умозрительных дебрях.

Так с ним приключалось всегда. Едва он кончал с утомительной иссушающей казенной работой, едва выбирался на свет божий из суматошной её суеты, и первые же часы сладчайшей свободы и отдыха возрождали его, и к нему возвращались то коварные, то светлые мысли, он мыслил, он жил.

Впрочем, суета уж слишком истомила его, и над суетой он раздумывал редко. Нынче как-то прорвалось. Это трудно было понять.

Обыкновенно в такие часы его что-то глубокое неудержимо манило к себе, что-то общее, самое трудное, самое важное из всего, чем жив на земле человек.

Взглянув, как безвольно поникла круглая голова Старика с короткими поредевшими волосами и дорогая сигара бесплодно истлевала в безучастной руке, с изогнутыми расслабленно пальцами, похожими на пальцы балованной истерички, оттолкнувшись от случайного наблюдения, он попытался докопаться до родников, которыми определяется наша судьба, которые питают прозу, стихи, которыми направляется жизнь.

Для Старика, для себя самого, для чего-то ещё, просто так, без видимой причины и цели ему необходимо было понять, отчего эти скрытые от наших глаз родники то стремительно вырываются из-под земли, то еле сочатся сквозь откуда-то нанесенную тину, то вдруг иссякают совсем.

В сущности говоря, всё его свободное время растрчивалось на подобные размышления, ими он только и жил, а многим представлялось со стороны, что он безмятежно подремывал в своем уголке.

Он взглянул ещё раз.

Истлевшая наполовину сигара готовилась выскользнуть из расслабленной руки Старика.

Он тотчас перескочил: что мог так ленивца увлечь?

Он возвратился к судьбе Старика, надо сказать, не из одного праздного любопытства и упражнения мысли волновавшей его.

Старик уже пристрастился к вину, и он уже думал, что Старик вероятней всего окончит сизым носом и трясением рук.

Неужели он не ошибся?

## Глава десятая

### Причуды анализа

Он выпустил подбородок, тоже устроился поудобней и прикрыл по привычке глаза, ощутив, как назревавший ячмень дернула острая боль.

В прежние годы он редко посещал безмолвного Старика, но одиночество его доконало, и он стал забредать к нему в праздники, в воскресенья, вечерами и днем, как свой человек, почти как родной, вроде дальнего дяди или кого-то ещё из родни.

Старик помнил его добрым, но строгим наставником, любимцем семьи, лучшим другом, учителем, авторитетом в глазах блестящего Валериана, а Старушка была благодарна ему за свое восхищение, с которым внимала каждому слову, когда он в тесном домашнем кругу импровизировал небольшой курс по некоторым темным проблемам эстетики. Ни у кого не находила она, так она уверяла его, подобной оригинальности, глубины, изящества мысли, хотя была знакома с Тургеневым, Григоровичем и Полонским. Его первую книгу зачитала она наизусть. Из неё то и дело повторяла она любимые изречения. Она Адуевым-дядей шутя дразнила его. Может быть, во всем мире лишь для неё он прежде всего был писатель, и она говаривала, восторженно улыбаясь:

– Великий.

Он смущался, не знал, куда спрятать глаза и вышучивал её молодую наивность, доказывал с искренним убеждением, что такого рода эпитеты вообще не имеют никакого значения, что он старый чиновник и цензор, как положено всякому человеку, исполняющий долг, и по этой причине совсем не писатель, то есть, конечно, писатель, раз уж кое-что написал, но для него это всего-навсего отдых, удовольствие, развлечение, другими словами, лишь дополнение к долгу, как и должно быть у всякого разумного и не шутя просвещенного человек, видел в ответ её иронические улыбки и вновь приходил к ней, чтобы слушать, возражать и не верить во весь этот замечательный бред.

Впервые он увидел её в переполненной церкви. Она стояла вся в белом, хрупкая девочка шестнадцати лет. Он подумал тогда, что ей бы следовало доигрывать в куклы, а не спешить под венец.

Вскоре он ушел кругом света и почти позабыл про неё. К его возвращению она родила двух детей, однако оставалась ребенком и в детей играла, как играла бы в куклы. Одни ресницы сурово чернели на взволнованном бледном лице, как и тогда, в день венчанья, в переполненной церкви, при блеске свечей.

Его поразило, как это, ставши женщиной, матерью, полной хозяйкой, она оставалась непосредственной и наивной, как девочка. Он стал подозревать в ней неведомые возможности сердца, невероятные силы души, которых не брала суета. В своем восхищении просветленных фантазиях он представлял её до гениальности умной, доброй до святости, отзывчивой, чуткой, правдивой, прямой и в то же время вполне земной женщиной, без распутной животности, однако и без глупого аскетизма, так что грезились иногда, что он повстречал наконец свой несбыточный идеал.

Но уже был к тому времени проверенный скептик, он знал, что как бы ни были прекрасны фантазии, они никогда не сбываются в жизни, и предвидел заранее, что при холодном свете анализа она окажется совсем не такой, какой он придумал её в порыве сиротского вдохновения.

А хотелось все-таки верить в возможность совершенно прекрасного человека, хотелось мечтать, что на этот раз сбудется именно так, как он представил себе.

И стало невозможно с неё не встречаться: мыслящий ум был обязан раскрыть эту жгучую тайну. Он должен был, ему было необходимо добраться до самых сокровенных глубин

обаятельного её существа, изучить её до последней душевной извилины, к тому же хотелось установить, исключительно для себя, насколько он ещё способен был ошибаться.

Он не был докучливым соглядатаем, который неумело и надоедливо суется в глаза. Сам множество раз испытав, ещё в гнусном заведении Тита, как мерзко ощущать на себе чужой пытающий взгляд, он искусно прятался от людей, которых выслеживал, удовлетворяя свое любопытство.

Она была чересчур впечатлительной, чуткой, он опасался, что она тотчас затаится в свою скорлупу, обнаружив особенное внимание с его стороны, приходилось быть особенно осторожным, особенно деликатным, и его сонливая маска нередко и тут выручала его.

По видимости он всегда оставался равнодушным и вялым. Полусонно глядели точно пустые глаза. Лицо застывало в невозмутимом покое. Он точно дремал или меланхолически размышлял о чем-то далеком, своем.

На самом деле он наблюдал, наблюдал упрямо, настойчиво, неотступно. Он выслеживал её, как другие в темном лесу выслеживают врага, он шпионил за ней, как шпионят за тайным преступником. Им не забывалось ни одно её слово. От него не ускользал ни один мимолетный, случайный, самый поверхностный взгляд. Ни один её жест не оставался без долгого размышления.

Он анализировал, сравнивал, сопоставлял. Он словно собирал её по крупичкам. Поздним вечером, уйдя от неё, он делал первые, осторожные выводы и назавтра, вновь наблюдая за ней, спешил проверить свои вчерашние выводы.

В отличие от других, она долго не открывалась ему, не поддавалась режущей силе анализа. Что-то, как он ни бился, оставалось в неё неразгаданным. Он словно бы знал её по частям, а весь характер, самый тип её был непонятен. Он находил её своеобразной, удивительной, необычной, однако не мог уловить, в чем состояла её необычность, чем она удивляет его?

И тогда он вспомнил о Старике и заметил эту неопределенность лица, невыразительность взгляда, сутулую вялость покатых плечей, точно придавленных неведомой тяжестью, эту податливость прежде времени располневшего тела.

Он вдруг безошибочно угадал затаенную слабость безразличной, угасавшей или даже угасшей души. Жизнь Старика по видимости представлялась гармоничной, разумной, в ней совместились и долг службы, семьи, и тихие наслаждения творчества, однако этого странного человека наслаждения тяготили не меньше, чем долг, видимо, было всё безразлично, не нужно ему.

И всё отчего?

Может быть, оттого, что потеряна цель, что не стало смысла равно ни в наслаждении, ни в исполнении долга?

Он ещё ответить не мог, но уже почуял близость большого несчастья. Эта близость, даже неотвратимость беды перепугала его, и он иными глазами увидал и её.

Она самозабвенно, самоотверженно исполняла долг матери и жены, вкладывая в него всю свою женственность, знания, характер и ум, но одного этого, слишком обыкновенного долга ей было мало, она жаждала большего, дерзкого, падений и взлетов, борьбы и крутых перемен, чтобы жить какой-то иной, более достойной, даже доблестной жизнью, и однообразные будни, с пеленками, обедами и отиранием слез, мучили, тяготили, подавляли её беспокойную душу, которой грезилось что-то гордое, непоколебимое, смелое, а в близком человеке нужен был героизм, что вместе, вдвоем взлететь в палящую высоту.

Да, вот в чем было дело: в Старушке клочкотала энергия, и она просто не знала, не находила, на что бы направить, на что бы растратить себя.

А Старик духовно был мертв, это в тридцать-то лет, что же станется в сорок и в пятьдесят?

Старушка, казалось, пока ещё не заметила этого. Она любила своего Старика, как тут же вносил свою поправку анализ, любила его потому, что это был её муж, единственный, первый мужчина, добрый и честный, воспитанный в духе лучших семейных традиций, как были воспитаны и старшие братья его. Она им восхищалась, в её глазах он был выше всех, кого она знала, потому что была в детстве несчастна, а Старика не довелось ни разу обидеть её. Она ещё могла жить хозяйством, детьми, заботой о милом, покладистом, беспомощном муже.

Только всё чаще тревожными бывали глаза. Только иногда набегали морщины на лоб. И предвестие скорби намечалось кругом молодого, крепко сжатого рта.

Он с содроганием угадал, что силы её, пригодные на какое-то беспримерное дело, не растратятся на пеленки и детские сказки. Когда-нибудь, и очень скоро, должно быть, они станут бурлить, отыскивая выход себе, и безжалостно разрушат её, как всё разрушает стихия. Он предчувствовал эту погибель и уже начинал примечать, как она понемногу, бессознательно, случайно пока, открывала в своем муже посредственность, ещё сама своим неиспорченным сердцем не желая верить в неё, однако долго ли это продлится, и тогда, открыв и поверив, она ринется без оглядки на поиски нового, настоящего долга, а он был убежден, что она не найдет ничего, что бы вполне удовлетворило её.

Да и с кем она ринется на борьбу, как только начнет презирать Старика?

Он много жил, наблюдал, размышлял, кое-что знал и достаточно глубоко заглянул в родники, которыми питается жизнь. Итог наблюдений и размышлений мало его утешал. В людях, и живших в прошедшие времена, и ныне живущих, он открыл всего два единственных типа: Обломов и Штольц. Один неподвижный, сердечный, бесхарактерный, мягкий, отклонявший от себя всякий долг, раз исполнение долга требует скуки, терпения, одоления и труда. Другой, принимая долг как единственный смысл своей жизни, не страшась скуки, труда и борьбы, одолевая на пути своем всё, что мешало идти, удачливый и деловой, до крайности сух, эгоистичен и временами жесток.

В свете столь печальных открытий немного нужно было ума, чтобы предвидеть: разочаровавшись в добром бездельнике, она потянется к человеку активному, разумеется, не без высоких, благородных идей, она увлечется его дерзким размахом, хладнокровным умением творить дело жизни, а не только плавать в прекрасных, однако бесплодных мечтах.

Впрочем, едва ли увлечется надолго, на год или два. Может ли деловой человек, приумножает ли он свой капитал, хлопчет ли о благе всего человечества, оставаться терпеливым и мягким? Всякое дело требует твердости, а порой и суровой жестокости, и такая неотвратимость судьбы подсказывала ему, что её, такую нежную, такую ранимую, чуткую, скоро истомит неминуемый эгоизм и духовная сухость дельца.

Что же в таком случае станет с ней?

Назад не вернуться... одно одиночество, одиночество... именно так...

Под бременем одиночества он страдал уже многие годы. Это бремя истязало отчаяньем и тоской, по временам он не надеялся устоять на ногах.

Но он-то был сильный, то есть он был мужчина, и кое-как брел с этим бременем дальше, а как же она?

Он и подумать об этом не мог! Только не это! Долг его состоял в том, чтобы её уберечь!

Иван Александрович вдруг ощутил, что самая большая усталость отступила, прошла.

Размышления, забавы анализа всегда бодрили его.

В одно мгновение позабылось о долге. Уберечь? Кого? От кого, от чего? В нем явилась потребность творить. Он внезапно подумал о том, что в конце первой части появится именно Штольц. Почему? Он не мог бы определенно, толково сказать. Это представлялось ему неизбежным, он чувствовал так, вот и всё, о чем же ещё толковать. Главное состояло в ином. Надо было придумать что-то еще. Возможно, между Ильей и Захаром приключится ещё одна перебранка, что-то очень, очень обломовское и по этой причине смешное, и Штольц увидит,

услышит её и закатится своим непременно грохочущим хохотом. С этим-то хохотом деловой человек и вступит в роман. Почему? Пока он и этого тоже не знал, это потом, анализ и размышление, всему свой черед, он именно безо всякой причины представил, что не с улыбкой, не с ласковым добрым смешком, а с громким осуждающим хохотом, иначе не мог вступить деловой человек.

Хорошо, хорошо...

И рванулся к столу, за перо, всё скорее обдумать, записать несколько предварительных фраз, тревожно обдумать ещё и ещё.

Но он по опыту знал, что ни времени, ни плохо восстановленных сил не достанет даже на несколько строк.

Иначе он уже мчался бы во весь дух за письменный стол, к себе в кабинет.

Нет, он оставался сидеть рядом с монументом застывшего Старика, неожиданно раздраженный, подумав о том, что без опыта мы бессмысленно бьемся об стену, а с опытом нас так же бессмысленно гложет хандра.

Он вздрогнул и с невольным презрением оглядел письменный стол Старика.

В открытой чернильнице сохли чернила. Небрежно брошенное перо откатилось, оставив после себя жирный прерывистый след. На листе, положенном наискось, так и забытом на середине стола, чернело с десяток измаранных строк.

А вечер уплывал, чтобы никогда не вернуться назад, а Старик всё курил, выпуская медленно дым, словно даже курением занимался с величайшим трудом, и расплывшееся лицо оставалось безмятежным, бездумным, э, мол, полноте, есть из чего хлопотать.

Однако человек был неглупый, а мысль – это обыкновенное свойство ума, стало быть, думал о чем-то всё это время, иначе быть не могло, так о чем?

Глаза слишком туманны и тусклы, чтобы мечтать о любимой, лоб оставался незамутненным хотя бы тенью от тени, губы обвисли, не хватало только слюней, так что едва ли сожаление о незадавшемся деле тяготило его.

Наблюдателю решительно нечего делать с таким персонажем, он так и решил, но уже заворшилось, забеспокоилось любопытство, разум споткнулся уже о препятствие, захотел его одолеть, воля проснулась, и он шевельнулся невольно, точно бы сел поудобней, чуть шире раздвинул тяжелые веки и пристально оглядел ещё раз Старика.

Прошло минут пять, и Старик наконец ощутил на себе его пристальный, изучающий взгляд и открыл бестолково глаза.

Глаза были честные, чистые, нежилые, точно брошенный, запустелый очаг, в них точно обвалилось всё, обветшало.

Его восторжила странность сравнения. Он так и увидел деревенскую печь. Старая печь осиротело приткнулась на глухой, заросшей бурьяном околице. Изба давным-давно была снесена и разобрана, а печь продолжала стоять с обломком трубы, с половиной выбитых кирпичей, без унесенной кем-то заслонки, тоскливо зияя щербатой дырой.

Таким и был человек, который сидел перед ним. Что-то самое важное этот человек уже утратил в себе или никогда не имел, оставаясь видимо человеком, но всё, что подавало когда-то надежды, уже не свершится, ни за что, никогда.

Нет, если бы такое несчастье приключилось бы с ним, если бы, как угасший очаг, не дающий огня, жил безмолвно, бесследно в своем кабинете, он задохнулся бы, он бы презрением замучил себя, а Старик, это он тоже знал, ещё восхищался собой как ни в чем не бывало.

Или не дано нам в самом деле всей истины знать о себе?

Иван Александрович порывисто вскинул большую круглую голову. В выпуклых голубых, широко раскрытых глазах сверкнули огни трех нагоревших свечей. В углах тонкого длинного рта зазмеилась кривая усмешка. Ядовитое слово зачесалось слететь с языка.

Однако он удержал, по всей вероятности, несправедливое слово, и усмешка пропала, и сами собой прикрылись глаза.

В кого приготовился он метнуть этот камень? Не верней ли метать сначала в себя? Разве ему самому уже открыты все его слабости, все недостатки? Разве мало и тех, какие он уже знал за собой? Разве он тоже не лгал иногда сам себе, пусть, он на это согласен, хотя бы невольно? Разве, давно потерявши надежду, он не надеялся всё же, как оказалось минуту назад, что ещё что-то свершит, что не зачахнет совсем, не заглохнет, как старая печь? И разве он твердо знал, что важней для него: не за страх, а за совесть исполненный долг или то, что втайне от всех мечтал совершить?

То-то и есть, он постоянно твердил, что надежды нет никакой, но нет-нет да вносил то заметку, то мысль, то клочок пока что неизвестно чего. Разумеется, он был живой человек и по этой причине не мог не мечтать совершить, однако, имея способность к анализу, слишком хорошо понимал, что в его обстоятельствах ничего совершить невозможно, кроме казенных бумаг, разве что так только, удовольствия ради, обрывки, клочки.

И всё это от чистого сердца, а вот объявилось, что надеялся тайком от себя, не позволяя тайным надеждам подниматься наружу, жил этим тайным, с ним, может быть, только и мог выносить свою безнадежную, свою постылую жизнь, со всем её честно исполненным долгом и скромными утехами обрывков, клочков, которые будто бы создавали разумную гармонию жизни.

Только на что же он тайно надеялся в срок пять лет?

Иван Александрович колебался, Иван Александрович не решался откровенно ответить себе и поспешил возвратиться к менее казусным, мало обременительным размышлениям о судьбе Старика, ведь всё то распутать легко, что не касается до тебя самого.

Его удивляло не раз, что Старика, такую смешную опору отыскавшему в рассыпавшейся жизни, не били в глаза, как мало-помалу выпадают его кирпичи.

Что за опора? Нелепость одна. Старик любил время от времени с неожиданным пафосом говорить, сильно вытягивая губы вперед, что сквозь ложь и разврат современности, будто бы смертельно ненавистной ему, он пронес незапятнанным свой идеал благородства и чести, остался верен своему чистому идеалу, несмотря на соблазны, которые кишели вокруг, в виде славы писателя или высокого чина, и готов отстаивать идеал при любых обстоятельствах, поступившись, если придется, благополучием, своим и семьи, но выходило отчего-то всё так, что Старика не приходилось поступаться ничем, даже покоем, и оставалось только гордиться, что идеал не забыт, что огонь идеала всегда горит в его сердце, что идеал не забыт.

Последнее было истинной правдой. Идеал не был запятнан ничем. Старик оставался добрым, честным, порядочным человеком, мирно служившим отечеству на своем скромном, мало-приметном посту, где и взятки не брал и слова лжи не сказал.

Но почему-то на сердце становилось от этого ещё тяжелей.

Внезапно зачесалось напухшее веко, и он, отвлекаясь от своих размышлений, тронул зудевшее место холодным мизинцем.

Ячмень, сильно токая, назревал всё заметней. Ночью непременно станет ломить, не даст, пожалуй, уснуть.

Странно однако, человеку надо немного, чтобы расстроить или утешить себя, и чем ничтожней ты сам, тем глупее твоё утешенье.

Это он было подумал о Старике, да в глазах тотчас колыхнулась тревога, почти и не видная со стороны, а сердце так и прожгло.

Осуждающих ближнего Иван Александрович не любил и не находил себя вправе кого-нибудь осуждать, однажды и навсегда решив в своих частых беседах с собой, что надобно самому подняться до Бога или уж сделаться окончательным подлецом, чтобы позволить себе вершить нравственный суд над другим, да человек вечно слаб и склонен к такого рода судам,

и по этой причине, неотступно следя за собой, ловя и в своей душе это подлую склонность, он одергивал себя, опалаясь стыдом.

Его мысли ещё порывались с разбегу туда, где таились причины того парадокса души, в результате которого от идеала, сбереженного Стариком, отчего-то приходилось ещё тяжелей, но он взял неторопливо гаванну из открытого резного деревянного ящика, уже наполовину пустого, аккуратно прикрыл его легкую крышку, долго разглядывал волокнистое тело сигары и долго разминал её ловкими пальцами, прежде чем раскурить.

Должно анализировать всё, чтобы всё понимать, это природное свойство ума, прочее его не касалось. Пусть Старик тешит свое самолюбие копеечной верой... сам-то вот... тоже придумал... надежду, а пора бы... пора...

Тут кстати припомнился Гоголь, и он не решился ему подражать.

... пора бы выбросить на помойку все эти листки и клочки...

И с иронией припомнил Адуева-дядю:

– ... Или Федору отдать на оклейку...

Он, разумеется, знал, что не выбросит и не отдаст, в его листках и клочках таилось что-то такое, без чего он не мог уже обойтись, однако ирония прекрасно освежала рассудок, и у него несколько отлегло на душе. Не осталось никаких осуждений. Разгадывать сей нравственный парадокс показалось занятием пустым и наивным. Бог с ним, пусть-ка сам поколдует над ним, когда охота придет.

Но работа анализа уже началась, остановить её было нельзя. Иван Александрович, умело и тонко играя с собой, вдруг полюбопытствовал знать, что в эту минуту у Старика на уме.

Это было обычное, чуть ли не единственное его развлечение, и он находил, что в таком развлечении не заключалось большого греха.

Покуривая, он внимательно разглядывал из-под полуприкрытых ресниц, припоминая прежние вечера. Почти всегда приключалось одно: в знак верности своему идеалу Старик принимался судить и рядить о политике, то есть лениво поигрывал кое-какими случайно всплывшими фактами, как дети играют игрушкой. Это бывало даже красиво, иногда вдохновенно и не обязывало решительно ни к чему, приятная демонстрация своих возвышенных чувств.

Ради этой забавы Старик ежедневно прочитывал с десятка газет, иноземных и русских, с жадностью ловил закулисные слухи, при случае выспрашивал тех, кто стоял поближе к властям, и высказывал свое всестороннее мнение о грядущих событиях, точно как раз от него и зависла судьба народов и стран.

Наполеон произнес, Пальмерстон выступил, Иосиф принял, Вильгельм согласился – открывались глаза, разгоралось лицо, вытягивались губы вперед, и самые фантастические догадки сыпались часами подряд, предположения сменялись предположениями, высказывались опасения, обсуждались надежды. На другой день Иосиф сказал, Наполеон не согласился, Вильгельм не принял, Пальмерстон сказал ещё одну речь – вновь гипотезы, губы, глаза, ничуть не мешавшие Наполеонам, Вильгельмам, Иосифам и Пальмерстонам выступать, заявлять и не соглашаться.

Так уж было заведено: сидит, сидит, окаменев в своем кресле, как мумия, да вдруг ринется в политический водоворот, чтобы потом сидеть и молчать до свежих слухов, свежих газет.

Иван Александрович улыбнулся.

Впрочем, мысль его тут же прыгнула в сторону. Он подумал о том, что редко курил такие сигары: они ему были не по карману. Он затягивался редко, но глубоко, стремясь обострить и продлить наслаждение, а между затяжками в который раз оглядывал вещи, которыми до отказа был заставлен большой кабинет и которые были знакомы до мельчайшей царапинки на боку, рассеянно припоминая последние новости, любопытствуя угадать, с чем именно через час или два к нему приступит Старик.

Разумеется, самым насущным и жгучим был крестьянский вопрос. Уже видели все, что хозяйство страны приходит в упадок день ото дня, и в журнальных схватках спешили решить, меняясь взаимными оскорблениями, насколько труд свободный выгодней труда подневольного, однако что и как предстояло начать с первого шага, определительно допытаться было нельзя.

Замечательные проекты, натурально, водились у всех, однако ж едва ли не все они состояли из логических рассуждений о том, с обязательными ссылками на законы политической экономии, по Миллю, Рикардо и Смиту, что вот хорошо бы было сделать то-то и то-то, но в большей части из них не находилось беспристрастного анализа текущего положения дел, угрожавшего стране развалом и нищетой.

Министр Ланской, например, назад тому месяца два, сочинил обширный доклад и во многих словах изъяснил, что правительство, приняв на себя выкуп крестьянских земель, вконец подорвет и без того запущенные финансы, и по этой причине лучше бы освободить крестьян без земли, чтобы русские люди приучались, подобно немцам или французам, приобретать имущество своими трудами, точно русским помещикам земля досталось не беспробудным бездельем, но тяжким трудом.

Слава богу, доклад был признан неясным, и товарищ министра Левшин, как судачили тут и там, всего в одну ночь, продиктовал контрдоклад, с той же силой ума изъясняя, что более разумным находит предоставить личную свободу и приусадебную оседлость, вознаградив землевладельцев за потерю земли, ежели, разумеется, таковое вознаграждение окажется необходимым.

Из глухих канцелярий слух о докладах каким-то образом вышел наружу. Владельцы заволновались, уразумев, что правительство не имеет возможности или желания гарантировать выкуп земли.

Тотчас для успокоения разгоряченных умов был учрежден комитет, в который было подано с мест около сотни проектов освобождения, и комитет приступил к рассмотрению своим извечным путем, то есть сенатор Гагарин отвергал каждый проект не читая, Ростовцев и Корф попросились вывести их из состава, прочие добродетельно ожидали, что им прикажут решить, однако ж наверху ещё сами не знали, что приказать, так что комитет исправнейшим образом продолжал заседать, страна же ободрилась и затаенно молчала.

Таким образом, естественно было бы Старика начать с комитета.

Предположения точно встряхнули его. Стала быстрее и бодрей ожившая мысль. Иван Александрович уже с нетерпением ждал, за что в самом-то деле возьмется Старик, желая поскорей проверить себя, точно решалось именно в этот момент, глуп он, как тетерев, или всё же умен.

Не тут-то было. Умиротворенный лик Старика не предвещал близких признаков созревания мысли. Старик точно умер и восседал своим монументом.

Молчание становилось невыносимым, расхолаживая взбодренную мысль, которая, по закону инерции, вновь угрожала сделаться безвкусной и вялой.

Напряжение росло и росло. Хотелось оборвать безмолвие каким-нибудь звуком, да сделать это он опасался: сбившись против воли с назревающей мысли, Старик провалил бы игру.

Он сдерживал нетерпение и живо, страдальчески ждал, изо всех сил делая самый равнодушный, скучающий вид.

Ждать он, слава богу, умел, как умел делать вид, что спокоен, однако выдержка давалась ему нелегко. Он почувствовал вдруг, что сидит неудобно, и двинулся осторожно, выбирая местечко получше.

Осторожность, конечно, со стороны выглядела бы довольно смешной и все-таки представлялась довольно опасной: и такой вздор мог спугнуть Старика.

И он, чуть не цыкнув, одернул себя и снова принял затверженный вид холодной невозмутимости. Тем не менее беспокойство всё нарастало. Начинало казаться, что догадка его неверна и что заговорит Старик совсем не о том.

На всякий случай он принялся угадывать и другую возможную тему, но, как на грех, путного не подворачивалось решительно ничего. Он досадовал, что в последние дни едва проглядывал заголовки газет и так невнимательно слушал болтовню Никитенко, который по части новостей незаменимый был человек.

Поистине, невозможно всего угадать: для игры, затеянной им, газеты очень бы могли пригодиться, а новостям Никитенко, пожалуй, не было бы цены.

Вот, в другой раз поневоле станешь умней...

Тут он внезапно приметил, что по широкому лицу Старика разливалась легкой тенью как будто досада.

Сомнения не было, слишком слабой была эта тень, но всё же была, и тень досады скорее всего.

Вот мягкий рот чуть приметно приморщился на углах. Вот гладкий лоб словно бы осеңило раздумье. Вот словно всё пропало опять.

Напряжение становилось невыносимым. Он даже забыл, что надо таиться, чтобы не помешать Старика. Сонливость спала с него. Он не сводил прямого жгучего взгляда с лица Старика, мысленно подгоняя его, и ужасно хотел, чтобы Старик заговорил поскорей, сию минуту, именно в этот, словно что-то решающий миг.

Старик наконец шевельнулся, подвинулся несколько вбок, заложил ногу на ногу, подпер голову согнутой в локте рукой и снова затих.

Он невольно съязвил про себя:

«Верно, мыслить и в самом деле значит страдать...»

И не успел раздуматься о тяжелой способности мыслить, как без всякого перехода ему представилось вдруг, что это не молодой беспечальный Старик, но Россия, нехотя шелохнувшись во сне, вяло мозгует о новой квартире и никак не может решить, стоит ли менять одну на другую, стоит ли тревожить себя, не спокойней ли оставаться на прежней, даже если необходимость давно взашей гонит с неё.

Он вздохнул. Сравнение показалось прямолинейным, жестким и злым. Таких сравнений он не любил. Он было хотел рассмеяться, чтобы смехом отбросить его, а мысль уже продолжала сравнение далее, фантазия помчалась вперед, и маска лица оставалась холодной, тогда как он с замиранием сердца следил, как от России, от Старика воображение внезапно поворотило к иному.

Он всё ещё отчетливо наблюдал безвольно поникшего Старика и большой запущенный кабинет, но так же отчетливо перед ним выступал из немого пространства старый знакомый среднего роста, приятной наружности, без определенности в округлом измятом лице. Знакомый приподнимался, приподнимался и сел наконец. Засаленный старый шлафрок распахнулся. Из просторного ворота потускневшей рубахи выставилась жирная шея. Влажные губы мелко тряслись. Пухлая рука расслабленно угрожала поднятым пальцем.

– Без меня они перевезут! – закричал человек, округляя испуганные глаза. – Не догляди, так и перевезут – черепки. Знаю я, что значит перевозка! Это значит ломка, шум, все вещи свалят в кучу на полу: тут и чемодан, и спинка дивана, и картина, и чубуки, и книги, склянки какие-то, которых в другое время и не видать, а тут, черт знает, откуда возьмутся! Смотри за всем, чтобы не растеряли да не переломали... половина тут, другая на возу или на новой квартире: захочется покурить, возьмешь трубку, а табак уж уехал... Хочешь сесть, да не на что; до чего ни дотронулся – выпачкано; всё в пыли; вымыться нечем, и ходи вон с такими руками...

Ему ли было не знать, что он выдумал этого человека от среднего роста до коротковатого пальца не совсем опрятной руки и за него сам только что сочинил эти комические, нелепые, обидные, невообразимые, пророческие слова, которые можно отнести ко всем нам, тугим на подъем, и уж тем более ко всему человечеству, явным образом не бегущему вскачь по тернистой дороге прогресса, а как иной раз побежит, так уж лучше бы оставалось на месте, но тем не менее явственно слышал высокий раздражительный голос и вдруг осознал со сладким блаженством, скользнувшим в душе, что сила фантазии его не угасла, что сила фантазии по-прежнему велика, что она, едва он оторвался от иссушающих служебных забот, воскресла и вновь начинала лепить заброшенных, недодуманных, полузабытых героев черта за чертой, прибавляя к первым эскизам по песчинке, пестовала, лелеяла, нянчила их всё это долгое время, не позволяя заглухнуть и умереть.

Господи, ему бы творить!

Им овладело отрадное беспокойство. Перед ним затеснились эти вымышленные, нигде не бывалые лица. Лица вертелись и двигались. Лица плакали, улыбались, сердились. Лица приставали к нему со своими речами. Лица то и дело менялись в лице.

Он досадовал, что не в силах запомнить всех этих жестов и слов. Всё торопилось куда-то. Всё тут же бледнело и вдруг ускользало. Ему бы остановить, загипнотизировать или бросить в тот же миг на бумагу, а он вместо этого празднично курил, прохладаясь, готовясь к какой-то бессмысленно-умной игре.

А там уже какая-то женщина была между ними. Кто она, какая она? Он так ярко, так выпукло, зримо видел других, что они заслонили её, слишком бледную, только-только возникшую, как будто чужую, плывущую туманным пятном, а ведь она, именно, без всяких сомнений она и была необходима ему.

Он силился её разглядеть сквозь надвинувшуюся массу уже знакомых людей. Он напрягался запомнить хотя бы улыбку или трепет ресниц, за которые можно было бы зацепиться, от которых можно было бы дальше пойти, пока ещё неизвестно куда.

Его глаза невольно обратились к столу. Он как будто неторопливо, как будто беспечно поднялся, словно без цели боком подсел и небрежно придвинул тот лист, который сверху испачкал Старик. Он ждал, что вот-вот она выдвинется к нему из толпы, он готовился поймать на бумагу в то же мгновение ту, без которой не было, без которой не получался и не мог получиться роман.

Тут Старик с сонным видом взглянул на часы и протяжно зевнул:

– Обедать пора, Катенька что-то того...

Иван Александрович с каким-то испугом втянул голову в плечи, тогда как Старик вновь с невозмутимым спокойствием погрузился в свои бездумные думы. Ворот стал влажным, тугим, чувства смешались, перепутались мысли. Гнев и признательность, отчаянье и восторг вспенились и сцепились в клубок. И возмущало его, что не успел во всем величии увидеть её, как предугадывалось точно во сне, не успел разглядеть её красоты, способной и камень возжечь самой пылкой любовью к себе, однако и радовало, очень странно, печально и гневно, что не вышла к нему, не успела его раздражить, не принудила писать и страдать и мучить себя, отдавая по крохам свободное время, которого так мало доставалось ему, выжимая до капли последние силы души, которых не успевал накопить, и безысходность его положения крушила его, потому что без этой непременно красивой, непременно возвышенной женщины уже никогда не будет романа, и впервые спросил себя в полном недоумении, каким это образом счастливое наслаждение творчества вдруг обернулось у него истязанием, и прорывалось сквозь весь этот хаос негромкое ликование:

«Не умер, нет, не умер ещё! Вновь всё пропало, исчезло, ушло, но ты жив, ты истинно жив, как надо бы жить каждый день! На что жизнь, если этого счастья нет у тебя? Но они приходили, они приходили к тебе! Для того, чтобы их потерять?..»

Он было метнул в Старика ненавидящий взгляд, но тут же стыдливо отвел: не Старик был виноват перед ним.

Голубые глаза посерели, краска сползла с полной шеи, которую более не сжимал воротник, и засосала старая мысль, горькая, точно корень полыни:

«Устроить жизнь не умел... наслаждение, долг... сплеховал... погряз в суете... какая гармония... так ничего и не жди...»

Эта заноза вонзилась в сердце давно. Он в минуты хандры с обреченным видом возился над ней, пытаясь сообразить, когда же и в чем он ошибся, не решаясь пожертвовать ни наслаждением ради неперемного отправления гражданского долга, ни гражданским долгом ради светлого счастья творить. Он только взывал, как хорошо бы было вырвать занозу, всё позабыть, ничего не меняя в жизни своей, и отчего-то ни забыть, ни вырвать было нельзя и даже отчего-то не надо, и он, не понимая зачем, её оставлял, и она жестоко язвила его, стоило зацепить её какой-нибудь мыслью, может быть, не позволяла закиснуть совсем, так что он, чтобы выдерживать её порой нестерпимую боль, хоть на время пытался её заглушить своим шутовством, пустяками, забавами, придуманными им исключительно для здоровья ума.

И он, волнуясь, спеша, воротился к забытой было игре, которая уже началась, но которую Старик всё ещё не желал поддерживать.

Он вспоминал, вспоминал, над чем же перед этой нечаянной вспышкой воображения и анализа он размышлял, то есть над чем-то очевидно чужим, однако по какой-то причине близком ему.

Он вспоминал упрямо, настойчиво, чтобы ещё раз как-нибудь не коснуться занозы и поскорей заглушить гнетущую боль.

Кое-как припомнился крестьянский вопрос, доклады, комитеты, проекты освобождения, однако они скользнули мимо него, всё это отчего-то казалось не то и не то.

Он припомнил ещё, что размышлял о странных причудах, позволявших ленивому Старика ужасно гордиться собой, но и это оказывалось не то.

Впрочем, от странностей Старика и потянулась какая-то мысль. Вдруг припомнилось всё, и он вскоре забыл о своей так разумно и всё же так глупо устроенной жизни.

Да, он размышлял перед тем о Старушке, он думал о том, что над ней уже собирала свои грозные тучи судьба.

След исчезнувшим образом промелькнуло ещё:

«Вороти их, ведь это убийство!..»

Но он уже был начеку и отрезал, стараясь быть опять равнодушным:

«Они сами ушли, не воротишь теперь...»

Мысль о том, что неумолимый порядок вещей сильнее всех наших самых прекрасных желаний, утешила его своей волнующей грустью и простотой, притупляя занозу, задвигая страдание на самое дно.

Сердце уже болело о ней. Предугадав по первым признакам драму, он решился всё изменить и спасти, положившись на свое знание жизни, на умение подбирать ключ к её самым странным замкам.

Жизнь никого не щадит, и множество острых, хоть и невидимых игл вонзается в человека, пока он беспечно движется в шумной толпе. Кроме того, множество сильных нравственных потрясений рушится на него, следы глубоких страстей, живых и разнообразных симпатий и ненавистей, таща за собой большие и малые беды. Отгородиться не дано никому. Остается одно: противоборствовать житейским стихиям, собравши в кулак свое мужество, как противоборствует стихиям природы умело оснащенный корабль.

Силу противоборства он черпал в труде. Труд, но творчество вернее всего, поднимали его на ту высоту, с которой видятся мелкими многие житейские горести. Трудом обновляется вечно шаткая вера в себя. За делом легче переносятся крутые невзгоды, и не имеет боль-

шого значения, на что именно направлены наши умственные или физические усилия. Можно романы писать, можно опробовать новый способ обработки земли, где-нибудь в северной тундре проложить новую борозду или придумать новый кулинарный рецепт. Главное, замыслить и выполнить замысел, и если особенно повезет замыслить и выполнить то, чего до тебя не выходило ни у кого.

И он пустился доказывать Старику, что неплохо бы было издавать журнал для детей, с направлением здоровым и честным, какого в русской литературе именно для детей ещё не бывало.

Как он и рассчитывал, Старик пересказал его мысли Старушке, и Старушка ухватилась за новое дело. Семейные вечера заполнились живыми планами, живыми мечтами. Вскоре ей встретились трудности, она обратилась за помощью к Старику, однако ленивый ум Старика несколько позамялся с ответом.

Он с простодушным видом поспешил ей на помощь, и она была благодарна ему, выпрашивая всякую мелочь издательских дел или подолгу советуясь, кого просить писать для детей.

Поощренная им, она глотала английские, французские и немецкие детские книжки и просила его указать, какие из них следует перевести на русский язык. Она требовала детских рассказов и от него и сама неумело пыталась писать.

Всё, что ни делала, всё, что ни говорила, она делала и говорила от имени Старика, именуя себя всего лишь помощницей мужа, не подозревая о том, что это она бралась за журнал, а Старик против воли тащился за ней.

Что ж, он поддерживал это чистое заблуждение, поскольку оно крепило непрочное семейное счастье, уверенный в том, что в этих общих трудах и заботах ей некогда станет разувериться в своем Старице.

Одиноким, без семьи, без домашнего очага, вечный путник, как он полушутя себя называл, он как будто стал жить не один. У него явилось свое особенное местечко в их несветлой, нероскошной, но уютной гостиной, и на его любимом местечке не позволялось сидеть никому. Молодые супруги почтительно уважали его, он даже слыл в их тесном кругу мудрецом, и, не находя, как ещё выразить свою благодарность за то, что он входил во все их тревоги, во все их труды, они сделали его своим дядей, своим забавником, капризуном, и он забавлял их своими невеселыми шутками и даже капризничал иногда, жалуясь на тяготы жизни или на вымышленные и невымышленные немощи тела и духа.

Заняв, до и после обеда, это особенное местечко, в полном молчании или терпеливо выслушивая их болтовню, он отдыхал от однообразной мазни, которую до помрачения души и ума просматривал на благо отечества в должности цензора, исподтишка улыбаясь безносым амурам, имевшим в лазах влюбленных хозяев какую-то свою, заветную цену, на его же вкус совершенно нелепым, выслушивая, добродушно спрятав усмешку, ребяческие жалобы и ребяческие признания, ворчливо наставляя, под видом шутки, не тронутых жизнью юнцов, благодарно млея над прекрасным обедом, мирно подремывая под любовное воркование, ещё не омраченное благодаря его хитроумным стараниям, и сочиняя для них смешные сюрпризы. И понемногу утихала щемящая боль неудач. И ляжка службы представлялась чуть посвободней. И неукоснительно исполняемый долг выглядел чуть покрупней. И полегче становилось уговаривать свою утомленную волю философски покоряться неблагоприятной судьбе. И он, почти не приметив, как это случилось, забредал к ним всё чаще и чаще, чтобы выкурить сигару со Старицом, а за обедом послушать милое щебетанье Старушки.

Она же словно приняла его в члены семьи, приказав ежедневно обедать у них, чтобы он, как уверяла она, не оставался голодным, отчего-то решив, что он частенько ленится обедать во «Франции», хотя обедать-то он никогда не ленился.

И он согласился, уверив себя, что делает это для них, то есть по праву возраста присматривает за молодыми и тем вернее оберегает их семейное счастье, однако после этого размяк до

того, что принес ей заветную папку с обрывками и клочками «Обломова», которых не решался показать никому.

Она просияла, зная, как он застенчив, и приняла его доверительность точно особенный и незаслуженный дар. Вместе с ним, с любовью, бережно, чуть дыша, она разбирала его клочки и обрывки всевозможных цветов, размеров и форм, исписанные то ровным почерком усердного канцеляриста, то нервно, поспешно, почти неразборчиво, когда за бешеным бегом внезапного вдохновения не поспевало перо. Она с благоговейным восторгом читала и перечитывала эти клочки и обрывки, а потом с каким-то наивным детским стараньем переписала в тетрадь плотной глянцевиной бумаги, страшась, как бы он по небрежности не растерял бесценных листков.

Её непосредственность, её наивный энтузиазм позабавили и обогрели его. Разлагая анализом всё, даже дружбу, он пришел к тому выводу, что одолжения дружбы обременительны, поскольку налагают обязанность ответить на одолжение одолжением, нечто вроде повинности, и потому нашел свое положение странным, неловким и все-таки очень приятным. Его благодарность не имела границ, однако излишней души, признаний и откровений и особенно всякого рода искренних слов он страшился до ужаса, точно самой скверной неделикатности, и потому не говорил ничего, а платил предупредительностью и бережной чуткостью.

Ему тем было легче молчать, что она сама не придавала никакого значения своим трудам и заботам о нем. Рядом с великим писателем, как она иногда называла его прямо в глаза, она представлялась себе слишком будничной, слишком обыкновенной, маленькой женщиной и не представляла себе, что может быть полезной, даже необходимой ему. Единственно, чего хотела она, так это быть всегда рядом с ним, набираясь сил, как выражалась она, от его несокрушимой внутренней силы.

А он поражался богатству её медленно созревающей души. Она становилась незаменимой помощницей в исполнении его затаенных мечтаний. С ней и благодаря ей он не бросал свой несчастный роман, в котором вместе с ней начинал подозревать какой-то особенный смысл, что-то такое, в сравнении с чем ежедневный прозаический долг представлялся пустым, а временами постыдным.

Разумеется, его скептицизм потешался над столь фантастическим бредом. Он невозмутимо напоминал, что долг и не может быть увеселительной воскресной прогулкой, а содержание долга большей частью не зависит от нас, что ему до старости лет не разорвать стальных цепей обязательной службы и что по этой причине ещё лет двенадцать, до самой отставки, не выкроить свободного времени, которое необходимо для успешной работы над книгой, то есть год или два. Он ворчал про себя, что она только женщина и что ей не по силам глухая его маята, однако всё чаще посещал её ласковый дом.

Сигара погасла. Иван Александрович потянулся к свече и вновь её раскурил.

Сумятица, вызванная внезапным приступом вдохновения, улеглась. Ему стало легко и так хотелось смеяться, что он позволил немного разжаться губам.

Лицо его вдруг потеплело.

За окном оседал и таял желтоватый туман. Должно быть, на дворе становилось морозно. Влажным холодком потягивало из форточки. Одна из свечей догорела до основания, черный остаток светильни упал в расплавленный воск и жалобно вспыхивал последним огнем.

## Глава одиннадцатая

### О творчестве с разных сторон

Старик наконец пробудился от грез, вытянул простодушные губы трубой и возмущенно забормотал высоким застоявшимся голосом:

– Черт побери, придумали комитет... Да им проектов достанет лет на сто... А мы должны тем временем ждать...

Он так и вздрогнул и повел озорными глазами.

Он угадал, и ребяческая удовлетворенность, чуть ли не гордость своей пронизательностью шевельнулась в душе, но он тут же прибавил, что угадать-то было легко, в Старике всё так застыло, песчинки падали день ото дня одинаково, и чувство удовлетворения сменилось унынием: если он угадал, что скажет Старик, то, вероятно, и всё прочее угадано верно, так что ничем поручиться нельзя, надолго ли он отвел ей глаза, надолго ли обманул, что её ленивец всерьез загорелся издательским делом.

Необходимо придумать что-то ещё...

Взгляд его сделался жестким, в углах рта обозначились злые морщины, и сердитая ирония проползла в голове:

«Ну, ты бы, понятное дело, обделал дня в три...»

Тем временем мешковато поворотившись всем телом, Старик протянул с убеждением, задумчиво глядя ему куда-то на вырез жилета:

– Нет, Иван Александрович, я никогда не поверю, чтобы вы предвидели такой комитет.

Наморщив лоб, припомнив с трудом, откуда залетело это престранное рассуждение о его посягательстве на пророчества, он согласился:

– Да, комитета я не предвидел.

Медленно вытянув ногу, слабо поморщась, Старик потер бедро несколько раз, растопырив мясистые пальцы, и сокрушенно вздохнул:

– Дело освобождения остановилось надолго, может быть, навсегда.

Он возразил безучастно, скорее из вежливости, по невозможности промолчать:

– Дело освобождения не зависит ни от кого из людей, ни от ума, ни от глупости их. Оно сдвинулось с места, потому что не сдвинуться не могло. И останавливаться будет не раз, такого рода дела не делаются сплеча, но оно не заглохнет, потребность его очевидна для всех.

Старик, поглаживая ногу выше колена, спросил:

– Отчего же оно должно останавливаться, когда очевидна потребность, к тому же для всех?

Его подмывало спросить:

«Что тебе? Ты из чего кипятышься?»

Однако по старинной привычке отозвался доброжелательно, мирно:

– В общем, это нетрудно понять. Россия-матушка, так сказать, почивала века, ничего путного не придумав в хозяйственном обиходе своем, кроме вывоза леса и воска да деревянной сохи, пока Петр не встряхнул её своей чудовищной волей, и она таки повернулась, похоже, повернулась только во сне. Где ей было научиться неустанной работе? И это во всем. Вот явилась потребность освобождения, и этой потребности, разумеется, надо осуществиться. В нормально устроенном обществе такого рода перевороты исполняются самым ходом вещей, без криков, без опасений, без детских восторгов, там прямо берутся за дело и, по возможности, доводят его до конца.

Услышав краем уха свой возвышенный тон, удивившись, что сам увлекался, хотя рассуждал, казалось, о самых ясных, самых неоспоримых вещах, давно и прочно продуманных им,

он с внутренней усмешкой спросил, из чего же кипятится он сам, и попробовал продолжать самым вялым из своих голосов, но голос все-таки становился всё ироничней и злей:

– У нас не умеют прямо взяться за дело, не могут, привычка труда у нас заменилась привычкой застольного прения. Всё мечты, всё прикидки, проекты, предположения, поправки и поправки к поправкам, как бы не вышло чего. Тщатся придумать, каким должно быть это наше освобождение, и полагают всерьез, что заняты освобождением. Ну, вот точь-в-точь, как мы с вами сейчас: сидим в накуренном кабинете, потягиваем дорогие сигары, калякаем понемногу, потом поспорим до хрипу, до звону в ушах, потом, глядишь, подеремся, а подравшись, отправимся спать, то есть, простите, отправимся сначала обедать. И хорошо. А тем временем кто-то безнаказанно оскорбляет в нашем департаменте достоинство человека, единственно оттого, что человек имеет несчастье быть подчиненным, кто-то из наших с вами знакомых привольно взятки берет, кто-то потрошит и без того пустую казну или нас вот с вами изготовился облапошить, может статься, во имя того же освобождения, а мы потом возмутимся, покричим в своем кабинете, и всё ничего, ровно бы заняты делом.

Старик расширил глаза и тем выразил свое возмещение:

– Ну, ваш эгоизм всему свету известен. Послушать вас, так святого нет и не может быть ничего. Только такие, как вы, и в состоянии рассуждать хладнокровно, когда у других всё кипит в благородной груди.

Много раз слыша о своем эгоизме и всё же задетый этой глупостью ха живое, он сдержался и отпарировал монотонно:

– Рассуждать и надобно с холодным умом. Вгорячах порют одну только дичь.

Повертел окурок сигары, затянулся, выпустил дым непрерывной струей и с удовольствием произнес, намеренно переводя разговор на другое:

– В самом деле, превосходнейшая сигара.

От неожиданности Старик нашелся не тотчас и промычал, запинаясь, с недоуменным, но оживленным лицом:

– Да... недурна ... может быть...

А он продолжал с философской невозмутимостью:

– Манильские крепки, но горьковаты. И ваши крепки, и горечь в них тоже есть, однако к горечи этой словно бы примешана сладость, и потому ваши легки, ароматны и бодрят не хуже манильских. Должно быть, хороши во время спешной или важной работы. Где брали?

У Старика ещё шире раскрылись глаза:

– У Елисеева.

Он наслаждался произведенным эффектом:

– И почему же, позвольте узнать?

У Старика глаза полезли на лоб:

– По пятнадцати ящик.

Он улыбнулся:

– Завтра же адресуюсь к нему.

И отрезал спокойно:

– А благородные порывы – это, пожалуй, обломовщина.

Сквозь щели полуопущенных век он следил с беспощадным вниманием, как туго менялось настроение совершенно ошеломленного, онемевшего Старика.

Вот благодушное настроение, в котором упрекал его в эгоизме, перебили сигары, неожиданно оборвав готовый пролиться поток сожалений, непременно с оттенком общественной грусти, вот помлели растерянностью студенистого цвета глаза, вот Старик еле-еле опомнился и вдруг догадался, что был одурачен намеком на дороговизну сигар, а вот зачисление благородных порывов по части обломовщины как будто задело щекотливые струны в чувствительной душе Старика.

Что говорить, было приятно вот так, по своему произволу, искусно играть чужими свободными чувствами, которые будто и не зависели от его воли, но вдруг изменялись, как он хотел, повинувшись одному умелому слову. Было приятным, особенным после тяжелых трудов наслаждением ощущать в себе эту силу и власть пронизательного ловца человеческих душ. И было поэтому жаль, что перед ним всего лишь этот взрослый младенец, не способный на достойный удар ответить достойным ударом.

Иного бы ему собеседника, себе по плечу.

Вот Старик, колыхаясь всем телом, неловко изображая улыбку, заговорил наконец с примирительной дерзостью, по-прежнему не глядя в лицо:

– Ну уж нет, Иван Александрович, это вы сами Обломов, простите меня, но так об вас все говорят. Вы сообразите, будьте добры: отечество переживает ответственнейший момент нашей тысячелетней истории, именно в этот момент ваша книга была бы прямо необходима нашему обществу, как предостережение, как полезный и добрый совет, что всем нам теперь делать, куда нам идти, а вы законопатились в четырех стенах своего кабинета и отказались писать: стар, мол, и болен, а на вас поглядеть – молодец молодцом, круглый да полный, чего вам ещё?

Должно быть, утомленный таким количеством слов, сказанных вдруг, Старик, склонив голову набок, помолчал с видом явного облегчения и вдруг с душевной болью воскликнул, глядя в упор на него умоляюще-беспомощным взглядом:

– Замечательные слова слышал где-то на днях: “Молчание Гончарова – общественное бедствие!”

У него дрогнуло сердце, сжалось и застучало поспешно. Он стыдливо спрятал глаза и точно припомнил, подчеркнуто вяло, совсем тихо выговаривая слова:

– Года тому с полтора этот упрек сказал мне Тургенев.

Сокрушенно повертев головой, Старик поднял палец, точно за тяжкий проступок ребенку грозил, и горько вздохнул:

– Вот видите, полтора года назад, а нынче так думают все!

У него подкатил к горлу комок, не давая вздохнуть. Он замешкался, глотнув с жадностью воздух, подумав, что от такого волнения может нечаянно помереть, и ответил совсем апатично, сомневаясь, чтобы Старик поверил ему:

– Они льстят ветерану пера, который вышел в отставку.

Старик выкрикнул гневно, потянувшись всем телом, словно собирался вскочить и бежать:

– Нет, нас действительно беспокоят судьбы нашей литературы, судьбы нашей страны!

Упрек был силен, отчасти и справедлив, и потому он глядел на Старика с укоризной, покачивая ногой, пытаясь скрыть раздражение, на Старика, может быть, на себя, это трудно было понять, и говорил неторопливо прерывисто, с подчеркнутой безучастной любезностью, успокаивая этим себя:

– Судьбы литературы, судьбы страны... Эх, Владимир Николаевич что за стиль... Гончаров и судьбы России... Гончаров учит Россию, что делать ей, бедной, как жить... Гончаров будто знает, куда и зачем России идти... Это, право, смешно... России дела нет ни до молчания моего, ни до моих мыслей и слов... Ну, положим, предам я тиснению новый роман, что ж, по-вашему, завтра преобразится, процветет и воскреснет целое общество ленивых, в сущности, бесполезных людей? Полно вам, не преобразится, не процветет, не воскреснет. Шекспиры и Гете не сделали этого, куда уж тут мне...

Всё беспокойней ворочаясь в кресле, с возмущением поднимая и опуская редкие брови, вертя порозовевшей рукой, то сжимая, то разжимая гладкие пальцы, Старик растерянно и настойчиво спрашивал у него:

– Однако вы нам говорили, я помню, во время ваших уроков, что Шекспир и Гете служили обществу, не станете же вы этого теперь отрицать?

Его взволнованность проходила, однако с мыслями всё ещё творилось что-то неладное, как нередко с ним приключалось. Спору нет, он проповедовал что-нибудь приблизительно так, как запомнил усердный его ученик, и продолжал, как представлялось ему, то же самое говорить, а выходило, что он противоречил себе, что он спорил с собой, может быть, слово сказалось не то и “службу” они понимали по-разному.

Дотянувшись до пепельницы, он сбросил пепел, только после этого взглянул на окуроч, бросил его и нехотя согласился:

– Разумеется, Шекспир и Гете служили, особенно Гете, был первый министр...

Старик так и взвился, торжествующе вскрикнув:

– Вот видите! Я ж говорю!

Трогая волосы на виске, поглядывая на Старика изучающим взглядом, он попробовал объяснить, подыскивая слова, стараясь как можно точнее и понятней выразить свою разноречивую неоднозначную давнюю мысль:

– Положим, что так, однако не в вашем теперешнем смысле. В вашем теперешнем смысле обществу служили и служат другие. Знаете ли, Куки и Ванкуверы делают это дело лучше Гомеров. Погодите, я вам расскажу. На Мае я встретил отставного матроса. Он явился на голое место, нанял тунгусов и засеял четыре десятины земли, истратив на каждую по сорок рублей, сомневаясь, конечно, вырастет на той-то земле что-нибудь. Однако же выросло, матрос деньги вернул с барышом, и на другое лето тунгусы к нему сами пришли. Он развел с их помощью скот, который занял бы не последнее место на какой-нибудь английской хозяйственной выставке. Край стал оживать. Завелось хлебопашество, скотоводство, о чем до него в тех местах не слышали. Тогда матрос передал церкви земли, хозяйство и скот и вновь переселился на пустошь, дабы возродить и её...

Он снова увидел те хлеба и тот сытый скот, и ему захотелось схватить Старика за пухлую вялую руку, поднять из просторного кресла и потащить к тем тунгусам, на Маю, хотя бы и прямо в домашнем заношенном сюртуке, чтобы вдвоем возрождать тот заброшенный край, однако желание было нелепым, смешным, как ни ощутил на тот миг в себе силы засеять и возродить, и, болезненно морщась, сцепив пальцы рук, точно удерживал пылкую страсть, он продолжал размеренно, сухо, опасаясь, что и на этот раз будет понят не так, как говорит, а как-нибудь плоско, прямолинейно и оттого однобоко:

– Так вот, я вам доложу, в каком-то смысле этот русский матрос ценнее для жизни всех Шекспиров и Гомеров на свете. Даже если бы оказалось побольше таких самоотверженных землепашцев на Русской земле, нам, вероятно, не о чем бы стало писать.

Сердясь на свой сухой, размеренный тон, уж очень не подходивший к той теме, которая была ему дороже и ближе многих других, он всё сильнее стискивал пальцы, но по привычке развешивал слова аккуратно и вяло:

– Гомер и Шекспир служили обществу тем, что воспитывали и ещё долго станут воспитывать моральные принципы, чуждые лицемерию, корысти и лжи, другими словами, отвращают от зла и научают добру, и с этой точки, как я и должен был вам говорить, совершенно неважно, когда, в какой день или в какой век явились “Гамлет” и “Фауст”, важно лишь то, что они появились.

Старик разочарованно и словно обиженно протянул:

– Этого мало же, мало совсем... и слишком долго... Прежде, когда вы нам читали, у вас выходило возвышенно, а не мрачно... Вы говорили, я помню, как говорят о пророках.

Он размышлял на эту тему годами, потому что она слишком задевала что-то большое свое, и всякий раз бывало трудно решить, сколько истины в его мыслях, а сколько лукавства, обмана себя самого.

Может быть, главным образом для своего оправдания он утверждал, что время рождения таких монументов, как “Фауст” и “Гамлет” не имеет большого значения? Не ближе ли к истине

было бы утверждать, что время рождения литературных шедевров столько же важно, сколько и не важно для общества? Или он просто запутался в своих аналитических тонкостях?

Ему не удавалось ответить на эти вопросы с помощью слов. Он искал один живой, выразительный образ, вместивший бы всё, что он думал. Он верил, что такой как будто не постижимый анализом, но полный движения и разными оттенками образ мог полнее всегда приблизительных слов растолковать Старику и ему самому, в чем таилась загвоздка. Однако подобного образа фантазия не подставляла ему, и он, увлекаясь, досадуя на слабость, на леность фантазии, негромко, раздумчиво, с плохо сдержанным сильным волнением подхватил:

– В самом деле, это мучительно долго. Я тоже хотел бы как можно скорей. Всё же процесс воспитания не только так долог, как вы говорите, он бесконечен. Впрочем, таков прогресс вообще. Для примера возьмите хоть движение по морю с помощью парусов, испытанное мной на себе, посмотрите на постановку и уборку, на сложность механизма, на ту сеть снастей, канатов, веревок, концов и веревочек, из которых каждая отправляет свое особенное назначение и есть необходимое звено в общей цепи, взгляните на число рук, которые их приводят в движение, и между тем к какому неполному результату приводят все эти хитрости: нельзя определить срок прибытия судна, нельзя бороться с противным ветром, нельзя сдвинуться назад, если наткнешься на мель, нельзя сразу поворотить в противоположную сторону, нельзя в одно мгновение остановиться, в штиль судно дремлет, при противном ветре лавирует, то есть виляет, обманывает ветер и выигрывает только треть пути, а ведь несколько тысяч лет убито на то, чтобы выдумать по парусу и по веревке в столетие, в каждой веревке, в каждом крючке, дощечке, гвозде читаешь историю, каким путем истязаний приобрело человечество право плавать по морю при благоприятном ветре. По-видимому, в нравственном мире право ходить против ветра, то есть против неправды, несправедливости, зла, приобретается ещё большим трудом и достижения ещё менее ощутительны. Слава богу, если в поколение прибавится хоть капелька честности, доброты, справедливости или терпимости к людям. Не всегда бывает и это. Как посмотришь с холодным-то вниманьем вокруг, человек всё такой, каков был и за сто, и за двести, и за тысячу лет.

Он умолк, тревожно проверяя себя, сосредоточенно глядя перед собой, на мгновение потеряв из глаз Старику, и наконец возразил осторожно, опасаясь неприятного тона наставника:

– Вы говорите, этого мало? Разумеется, очень немного, однако большего, может быть, и достичь невозможно? Капля за каплей: Гомер... Данте... Шекспир... Гете... Пушкин и Гоголь у нас... Жизнь не спешит, в отличие от русского человека, который торопится хорошо говорить и между тем годами валяется на боку, не испив из капель ни капли, простите за дурной каламбур.

Улыбнувшись доброй, мягкой, но лукавой улыбкой, он заговорил убежденно, легко, озорно поблескивая теперь широко открытыми выпуклыми глазами:

– Ведь как он действует обыкновенно, русский-то человек?

Лицо прояснилось, очистилось:

– В школе, в университете послушает с пятого на десятое враз все науки, числом от пятнадцати до двадцати, меньше нельзя, каждую ночки три перед экзаменом подзубрит, застающим его обыкновенно врасплох, пробежит пять-шесть запрещенных брошюрок, которые у нас запрещают по глупости, потому что в тех глупых брошюрках нечего запрещать, выхватит из них десяток самых не применимых к жизни, зато очень звучных сентенций, и айда переделывать мир, сверху донизу всенепременно, хоть душу вон, в убеждении, что несправедливый, презренный, отвратительный мир только и ждет для своего внезапного и всестороннего обновления наших слегка просвещенных усилий.

И уже туча вновь омрачила лицо, полуприкрылись глаза, и голос начал страдальчески поникать, окрашиваясь грустной иронией:

– Усилия и впрямь бывают геройские, но мир стоит себе и стоит, как стоял, и русский человек тотчас приходит в уныние, прокликает брошюры и весь белый свет, что не так да не этак устроен, а умных правил не желает принять, заползает в наследственную или в благоприобретенную, непременно теплую нору, полагая, что всё совершил, что ему продиктовала чистая совесть, и ужасается в своей теплой норе, как всё гадко, подло кругом, и водку, разумеется, стаканами пьет, но взять метлу и заступ в свои благородные руки да в этой гадости поработать, чтобы почистить её своим пусть мелким, неблагодарным, неприметным, но всё же трудом, то есть честно исполнить свой долг гражданина, как бы ни был он горек и сух, желать не желает, а если ненароком возьмет, так нравственно окажется глух до того, что таких вдруг гадостей и подлостей натворит, что старые-то гадости и подлости, против которых благородно вооружался и грудью стоял, и в подметки его собственным гадостям и подлостям не годятся. Вот вы растолкуйте-ка мне: отчего?

И вдруг сердито спросил у себя, для чего это он об этих материях заговорил, и заговорил именно здесь, в этой туманно-прокуренной комнате, в этот вечерний, миром и добротой ласкающий час, когда на шумный Город снизошла наконец тишина, когда подходило время позднего, по-английски, обеда, когда и для Старика и для него самого было бы удовольствием сесть поскорее за стол, а не произносить вслух затейливых рассуждений о странностях русского человека, но то ли пауза тянулась как-то неловко, то ли он слишком долго оставался один все последние трудные дни и потребность говорить многословно, не имело значенья о чем, лишь бы собеседник нашелся и слушал его, оказывалась сильнее благоразумия и предостерегавшей насмешки, однако же он, сделав вид, что не молчит, а только собирается с мыслями, сам ответил с искренним убеждением, очень тихо, почти и не слыша собственных слов:

– От воспитания.

И вновь налетел на свои задушевные мысли, и голос поневоле потеплел и окреп:

– Дайте русскому человеку верное представление о его скромном месте в процессе истории, об истинной чести и честности, о долге как одолении и труде, главное же, дайте ему реальную, практически исполнимую цель, укажите верные средства для её достижения, вот тогда он и выползет из своей неустроенной, плохо обжитой и душной норы и тогда...

Тут он опомнился, неловко задвигался на диване, попытавшись придать себе беспечный, легкомысленный вид, поддаваясь привычке таиться, молчать, иронически вопрошая себя, сам не занесся ли в облака, и глухо прибавил:

– Не нынче, не завтра... пожалуй, русского человека раскачаешь не вдруг...

Лицо заметалось, застыдилось того, что оказалось открытым, лицо заспешило поскорей отвердеть и укрыться под куда-то запропастившейся маской равнодушия решительно ко всему, однако взволнованность, всё прибывавшая в нем, оказалась сильнее его хорошо воспитанной воли, в глазах на миг сверкнуло негодование, на задрожавших щеках появился румянец, и голос, не сладивший с возмущением, раздавался звучней:

– Наша школа, по крайней мере теперь, русского человека растолкать не способна. Времена Шевырева, Надеждина для наших университетов прошли. Религия пошатнулась. Нравственным воспитанием способно заниматься одно лишь искусство, да и то если здраво оно, если не залетает бог весть куда или не продается за деньги, однако и наше искусство на ложном пути.

Уходя глубоко в просторное кресло, весь покрывшись морщинами, Старик подхватил, не то ухмыляясь, не то улыбаясь с чувством победы над ним:

– Представьте, учитель, вы убедили меня, и я бью вас вашим оружием. “Обыкновенная история” – огромная, мудрейшая вещь. Мы с Катей читаем, перечитываем её, восхищаемся, всякий раз находим новые мысли исключительной силы, сами учимся мыслить трезво и здраво, как вы изволите излагать. И вот я никак в толк не возьму, отчего вы не продолжаете ваше

прекрасное дело, отчего не дадите нам ещё две, три, четыре такие же вещи, огромные, мудрые, в поучение нам?

От неожиданности упрека у него потемнело в глазах и вырвалось жалобно, громко:

– Я писать не могу!

Старик приподнялся, переспросил с удивлением, глядя на него испытующе расширенными глазами, тыча в его сторону возмущенной рукой:

– Вы не можете, вы?

Как нужна ему стала его равнодушная маска! Как захотелось спрятать под ней нестерпимую горечь и боль!

Он пожалел о своей неожиданной, недозволенной откровенности. Он боролся с собой, отступая, отыскивая шутивное слово, чтобы самым естественным образом куда-нибудь отвести разговор, слушая жадно, не простучат ли к дверям долгожданные каблуки, надеясь, что разговор оборвется тогда сам собой.

Однако старая горечь и старая боль за десять лет настоялись так, что порой обжигали его, и он против воли ответил, принуждая голос хотя бы звучать безразлично:

– Да, Владимир Николаевич, не могу. Мне сорок пять лет. Моя песенка спета.

Укоризненно покивав коротко стриженной головой, раскачиваясь всем толстым телом, точно собирався вскочить, Старик выговаривал громко:

– Творческая способность не иссякает, уж нет! Она, как река, к устью становится полноводней, если все силы направить в единый поток созидания. Вольтер в шестьдесят пять лет написал “Кандида”, в семьдесят три “Простодушного”, в семьдесят четыре “Царевну Вавилонскую”, а любезный вам Гете завершил “Фауста”, когда ему восемьдесят два прозвонило! Вы сами же обо всем об этом мне рассказали, их примером наставляли меня, и Валериана, и Аполлона, а нынче, в сорок пять лет, объявляете себя стариком, лишь бы в своих глазах оправдать свою нерадивость! Вам надобно взять себя в руки, вот что я вам доложу!

Он прилагал все свои душевные силы, чтобы оставаться невозмутимым, однако владел собой плохо, да и как совладать? Выговор, сделанный Стариком, разбивал все его утешающие резоны, которые он придумывал в удушливой хмари бессонных ночей, поставив его перед лицом внезапно и грубо разбуженной совести, и он по опыту знал, что теперь ему долго от терзаний её никуда не уйти, пока в другие бессонные ночи не выткет из призрачной тьмы ещё один утешающий аргумент.

А зачем? Всё равно никакие резоны и аргументы не усыпляли его. Для успокоения его не достанет бессонных ночей. Он готов был к тому, что должно неминуемо быть. Если бы одно только это, он без труда совладал бы с собой. Разве это одно?

Он вдруг встрепенулся. Его поразило, что именно замшелый Старик не себе, а ему так горячо проповедует труд и советует взять себя в руки. Он не выдержал искушенья и с ядовитой усмешкой кивнул на письменный стол:

– Ну, нам-то с вами, как видно, они не в пример. Да, все они были гиганты, богатыри. Впрочем, если судить беспристрастно, и у гигантов, богатырей, приключались периоды жизни, когда им не удавалось ничего написать.

Не глядя на стол, Старик многозначительно вытягивал губы трубой, довольный, может быть, тем, что сумел загнать учителя в угол, помня, должно быть, ещё, как во время уроков сам то и дело попадался впросак:

– Периоды начинались, периоды и кончались, а ваш чересчур затянулся, все говорят. Пора вам, пора приниматься за дело, все заждались.

От ученика выслушивать такие речи было несладко. К тому же он чувствовал в этих речах какую-то явную и пристрастную ложь, однако и какую-то странную, ужасно обидную правду. Ложь угнетала его: не тому он учил Старика. Правда шевелила и без того беспокойную душу, поднимая со дна глухую горечь и боль.

Не испытывая желания разбираться, в чем была правда и в чем была ложь, он отогнал и горечь и боль на прежнее, на привычное место.

Это не удавалось ему, а он не хотел, чтобы стало заметно, как он уязвлен, и на лицо вновь напозлала благодушная вялость, холодная рассудительность появилась в полуприкрытых глазах, он пытался уверить себя, что вся эта досужая болтовня ни к чему не ведет, что это пустое, бесплодное препирательство, что надо смолчать и тут же с глубокой обидой отрезал:

– Нет, Владимир Николаевич, нет! Я истощил мой запас, у меня ничего не осталось, кроме случайных зарниц и кратковременных вспышек, от которых не бывает грозы. Так, мелькнет иногда, но не оставит следа. И не надо обманывать себя и других. Мое литературное поприще кончено навсегда. Мне хочется отдохнуть, отправиться куда-нибудь далеко, только избави Бог от фрегата. Работайте вы, пока молоды, не жалейте, не распускайте себя.

И словно бы невзначай, уже простодушно вновь скользнул ироническим взглядом на стол.

На этот раз уловив его взгляд, угадав его смысл, Старик сконфузился суетливо, обиженно опустил обмякшие веки, замигал, отводя виновато глаза, и оправдался несмело:

– Служба... тупеешь... принуждаешь себя...

И тут слышалась своя правда и своя искусная ложь, но его чувства, уже смиренные разумом, не вырывались больше наружу, тяжелые веки наполовину прикрыли тоскующие глаза, лицо казалось безразличным, сонливым, и он, уже владея собой, обрывая тревогу, миролюбиво ворчал, притворяясь Адуевым-дядей:

– То-то вот, служба всё. Службы – дело серьезное, долг перед обществом, ну, и так далее, не вам изъяснять, а писанье-то – так, чепуха, забава, развлечение после трудов. Отчего бы иногда и не пописать на досуг, если есть, конечно, досуг, может, что выкинется, иногда и стишками. А два дела вместе порядочно исполнить нельзя. Или со службы беги – или писанье похерь.

Старик взглянул исподлобья с какой-то странной, словно бы не согласной покорностью, и о, остро почуяв это упорное несогласие, с которым сам безуспешно боролся несколько лет, как всегда, не во всем согласный с собой, но упрямо защищавший свою правоту, ещё поприбавил шутовского сочувствия:

– Пожалуй, можно сказать, что творчество – это свобода или тот род наслаждения, когда всё лучшее, священное что ли, так сказать, рвется наружу, когда весь человек раскрывается до самого дна, когда искренен с собой до предела, а ложь невозможна, немислима, нельзя себе лгать. В таком деле не может не быть губительным принуждение. Что вы, голубчик, принуждение в творчестве – это ложь. На службе дело иное, на службе надобно себя принуждать, на службе без принуждения шагу не ступишь, а в творчестве начнешь принуждать – выйдет вздор, выйдет дрянь, пятый сорт, если не хуже ещё. А пришло вдохновение, уловил его искренний зов, тогда не мешкай, не спи, ночами пиши, позабудь обо всем, совесть свою отвори, ей одной отдайся на волю: совесть не подведет, и что она скажет в эту минуту, то и станет высшим в искусстве.

Нечаянная хвала свободе, совести, вдохновенью, так неожиданно слетевшая с языка, наперекор намерению посмеяться и пошутить над беспечным ленивцем, а пуще всего над собой, пробудила в нем жгучую зависть к тем немногим счастливым, что вечно владеют пером, и он не сдержал увлечения, которое так и рвалось наружу, и шутовское сочувствие вдруг превратилось в упрек:

– Вы служите, можно сказать, для забавы, можете являться в присутствие два-три раза в неделю, а зрелость уже на носу, так не мешкайте, не пропустите. Ну, а старость придет, дай вам Бог выдержать этот холод достойно.

Старик выслушал, помолчал и флегматично вздохнул:

– Таланта настоящего нет... то есть вот чтобы одним могучим дыханием...

Вот-вот, одним могучим дыханием, без одоления, без борьбы, без труда. Он возвысил укоризненный голос, на мгновенье забыв, что и сам не давал в творчестве места ни одолению, ни борьбе, ни, кажется, даже труду:

– Вам рано знать, есть у вас талант или нет, вам ещё надо работать, надо дерзать!

Старик утомленным расслабленным голосом отвел от себя этот упрек и перешел в наступление:

– Оставим меня. Мы о вас говорим. Я тут причем? Лучше откройтесь, неужели вам не досадно, что вы до сей поры не завершили “Обломова”?

Наконец песчинки упали не так, как обычно, но они не разбудили его любопытства. Этим проклятым вопросом он мучился постоянно, и ему уже стал ненавистен этот вопрос. Он сделал скучающий вид, нехотя переспросил и нехотя отвел его от себя, вдруг привязавшись к одному неверному, глупому слову:

– Досадно? Пожалуй, вы в первый раз спросили об этом.

Старик с достоинством подтвердил:

– Да, в первый раз, но думаю об этом давно.

Это достоинство, эта легкость признания, вызвав догадку о том, сколько унижительного, сколько несправедливого накопилось против него в завистливо-мелкой душе Старика, который несколько месяцев, может быть, несколько лет неторопливо, со вкусом размышлял над его злополучной нерасторопностью, если этим метким словом назвал эту несправедливую, эту жестокую невозможность закончить роман, счастливо начатый да на первой части так и застрявший, и, стало быть, всё это время с пренебрежением поглядывал на него, предупредительно угощая сигарами, взорвали его, вызывая негодование, однако, уже ощутив, как тает маска, стекая с лица, как лицо готовится вспыхнуть, глаза засверкать и бешеный крик поднимается к горлу, он успел признаться себе, что неудача его очевидна, что истину надо признать, даже самую горькую истину, неловко зевнул, сохранив благодаря этому сонливость лица, и ответил со скукой:

– Нет, не досадно.

Старик потянулся вперед, принагнулся, пытаясь, должно быть, заглянуть ему прямо в глаза, и с издевкой спросил:

– И по этой причине вы со спокойной совестью служите в комитете цензуры?

Он резко встал, чтобы тотчас уйти и не слушать оскорбительной болтовни, вдруг со злостью подумав о том, что Илья такого вопроса не задал бы никогда, никогда бы с такой жесткостью не обидел его.

Но разве от такого рода вопросов можно скрыться, уйти?

И он неторопливо прошелся по кабинету, глядя в черные бельма окна, видя отражение свечи и смутные, едва различимые корешки расставленных по полкам томов, и, не обернувшись, апатично промямлил:

– Далась вам эта цензура.

Однако голос Старика продолжал звучать возмущенно:

– Цензура? Да это чудовище губит сё благородное, всё разумное и святое! Наша литература захлебывается в крови её красных чернил!

Он постоял перед форточкой, заложив руки за спину, подставляя лицо под струю холодного воздуха, разглядывая на черном клочке окончателно завечеревшего неба первые пятнышки звезд, и ответил небрежно, стараясь думать о том, что погода переменилась и что нынче ему не заснуть:

– Полно. Цензура, точно, губит – одних дураков. И слава Богу. А умных цензура делает только умнее.

Голос Старика раскатился благородным негодованием:

Цензура убила Грибоедова, похерив “Горе от ума”! Если бы не он, сколько бы он ещё написал!

Он вспомнил Николая Васильевича, его рассуждение о цензуре в тот давний вечер, когда видел его, и беззлобно подумал о том, что Старика убедить невозможно, как и многих других, и что, может быть, потому они все и негодуют так сильно: небось, так и хочется в мученики, хочется ореола, венца, страсти-то, страсти какие!

Он едва утерпел, чтобы не захохотать во всё горло, так нелепым представился лик Старика в терновом венце, но голос остался безличным, лишь окрашенным тенью иронии:

– Грибоедова убили персианцы, это вам надобно знать, и за четыре года со дня завершения “Горя” ничего путного успеть он не мог. То есть написал бы, вероятно, если стал бы писать, такую же дрянь, как его водевили, не читали, небось? Нет, всякий день невозможно шедевры клепать, невозможно даже повести с направленьем писать хорошо, тем более чудо такое, как “Горе”. На такие вещи уходят десятилетия, целая жизнь иногда.

Должно быть, не слушая, не понимая его, неугомонный Старик разгорячился вовсю, восклицая громко и грозно:

– Да понимаете ли вы, мой учитель, что вы изволите защищать? Вы защищаете насилие, деспотизм!

Сделавшись ещё более безучастным и вялым, сам уставший от исполнения дурацкого долга, который что-то уж слишком оказывался неприятен и сух, он медленно, рассудительно заключил:

– Эк вас сегодня, вы не больны? Нет, не защищаю я деспотизма, я говорю, что цензура бессильна перед истинным гением, по крайней мере, насколько я знаю, из истинных гениев ни один не оправдывал свои неудачи вторжением красных чернил. Ну, представьте себе: Шекспира убила цензура. Нелепо, смешно. И мне упрекнуть себя не в чем. Я Лермонтова пропустил целиком, и у Тургенева не выпустил ни строки.

Старик злорадно свернул:

– А Щербина сложил же стишки: “Избави нас от похвалы позорной “Северной пчелы” и от цензуры Гончарова”!

Он пожал хладнокровно плечами, отходя от окна:

– На то он и Щербина, чтобы глупости обо всех сочинять. Кто вспомнит имя этого пошляка лет через пять?

Старик запальчиво выкрикнул:

– А кто вспомнит об вас без “Обломова”?

Стало больно глядеть на желтые копыя свечей, приходилось шурить глаза, отчего в назревший ячмень колола нестерпимая боль, и он проворчал, отвернувшись от света, тупо разглядывая темные корешки:

– Что мне до них? Никакие воспоминания мне не нужны, ничьи воспоминания жить прожить не помогут. Старик неожиданно замолчал и затих, утонув в своем кресле, сцепив пальцы на животе.

Иван Александрович с облегченьем вздохнул, надеясь на то, что томительный разговор наконец благополучно закончен и несколько времени не понадобится поочередно разыгрывать из себя то идиота, то мудреца.

Впрочем, он тут же поправил себя, что не совсем справедлив. С какой целью забрел он сюда? Отдохнуть, повидаться с людьми, которые приятны и блики ему? Разумеется, да, однако прежде всего он пришел наблюдать, насладиться после долгого перерыва своей, может быть, единственной страстью, и это вглядыванье, это вдумыванье в свою и чужую, своей дорогой идущую жизнь давало ему такой общечеловеческий и частный урок, какого не получил бы ни каких школах и книгах. Поневоле станешь искать, как слагалась она, поневоле устремиться к её родникам. Это ли не истинный труд для мыслителя? И что в этой жизни сходного и что не сходного сравнении с его собственной жизнью? Поневоле не можешь отделаться от такого рода важных запросов, закрыть глаза нарочно на то, чего прежде не видел в себе.

Таким образом, выходило, что он должен был быть благодарен ещё Старику за этот нечаянно вспыхнувший спор, но продолжать этот спор не хотел, именно потому, что хотел попристальной вглядеться в себя, и, зная словоохотливость Старика, если затронуть вопросы общественной пользы, побаиваясь, как бы ещё раз не затронуть этих вопросов, не поворачиваясь к – нему, снял с полки какую-то книгу, раскрыл наугад в середине и принялся неторопливо читать на правой странице первый сверху абзац:

«Ещё одно обстоятельство способствовало этому. Бывая против своего желания в большом свете, я, однако, не был в состоянии ни усвоить его тона, и подчиниться ему; поэтому я решил обойтись без него и создать себе свой собственный тон. Так как источником моей глупой и угрюмой застенчивости, которую я не мог преодолеть, была боязнь нарушить приличия, я решил, чтобы придать...»

Старик возразил, внезапно и радостно, наконец подыскав подходящий ответ:

– Однако, помилуйте, вас литература могла бы кормит. За “Обломова” дали бы вам тысяч десять, за отдельное издание, может быть, столько же. Лет на шесть бы достало. Даже на семь!

Он машинально дочитывал вслух:

– “... себе смелости, отбросить их. Я сделался циничным и язвительным – от смущения; прикидывался, что презираю вежливость, хотя просто не умел соблюдать её...”

Старик изумленно спросил:

– Это – что?

Он сам изумился, как это вырвалось у него, однако такого рода случайные происшествия всегда забавляли его, и он разъярил с невозмутимостью дяди:

– Это Руссо. Неужто не узнаете? До того был человек, что хоть брось.

Старик пробурчал как-то сдавленно, недовольно, упрятав, должно быть, рот в воротник, он не видел и глядеть не хотел:

– Зачем здесь Руссо, что-то я не пойму?

Пробегая дальше одними глазами, как суровость приобретала в душе чувствительного философа бесстрашие – победителя, он продолжал, делая вид, что тема его увлекла:

– Меня удивляло всегда, в пансионе ещё, что “Исповедь”, тем не менее, превосходная вещь.

Ворочаясь в кресле, так что кресло скрипело под ним, Старик обиженно повторил:

– Я толкую, что литература бы вас кормила и вы бы имели счастье не служить по цензуре, а вы суете мне под нос Руссо!

Не оборачиваясь, стараясь не шевелить воспаленными веками, он ответил не торопясь:

– Мне достало бы и на десять, но “Обломова” надо ещё написать, для отдельного издания ещё нужен успех, а много вы видели переизданий Пушкина, Гоголя? Спросу нет, говорят, вот как нынче у нас. Кто же меня-то переиздаст? Кто станет кормить на старости лет, ежели не выслужу пенсии черным трудом? Разве что вы?

Старик с негодованием протянул:

– Ну, уж это дело известное, пессимизм меланхолика, слышали мы!

С досадой подумав, что этот благополучный, обеспеченный человек, никогда не знавший нужды, ничего не знает ни о меланхолии, ни тем более о пессимизме, он круто поворотился к нему, заложив пальцем страницу, поднял глаза и, ощутив колющую боль, удивился:

– Меланхолика, вы говорите? Это вы меня величаете меланхоликом?

Старик огрызнулся ворчливо:

– С таким замыслом сидеть сложа руки! Меланхолик и есть!

Он захохотал наконец, даже слезы выступили из глаз, зашипав воспаленные веки, которые от смеха дергались часто и острая боль их рвала, не давая сосредоточиться, будоража его. Не ставя книгу на место, слепо тыкаясь с ней, он свободной рукой, промахнувшись два раза, выхватил из кармана платок, бережно прикоснулся к глазам, сиюсь остановиться, но хохот

тал ещё громче, скривившись от боли, и слезы выступали обильней, а он сквозь хохот и боль выталкивал каждое слово:

– Откуда... вам... знать... меня... меня...

Перевел дух и, держа перед носом скомканный белый платок, растянул, передразнивая, дурацкое слово:

– Ме-лан-хо-о-оли-ик!

Трогая пальцем, подальше от боли, через платок, самые уголки глаз, глядя из осторожности вниз, он холодно продолжал, тогда как в душе так и пенилась гордость:

– Мальчишкой вам бы за мной не угнаться. Я непоседливым был, как чертенок, любопытство так и распирало меня. Няня стерегла меня целый день, но я от неё убегал. Маменька так и сыпала исправительные затрещины, какие вам и не снились.

Старик недоверчиво хмыкнул:

– Отчего же вы такой... замороженный?

Он вдруг встрепенулся, опомнился, высушил слезы, спрятал платок, улыбнулся одними губами и ответил с фальшивой игривостью:

– А вот и загадка для вас!

Старик надул обиженно губы, а он без улыбки и молча, неторопливым раздумчивым взглядом смотрел на него, отыскивая признаки желанья, одоления, жизни, какую ощутил вдруг в себе.

Старик стоял к нему близко, ближе многих других, знал давно, видел часто, без стеснения разговаривал обо всем, что бы ни всходило на ум, однако он с упрямым недоумением обнаруживал, не в первый уж раз, что вся его душевная жизнь оставалась чужда Старику, что, может быть, не подозревая о том, Старик глубоко равнодушен и к службе его, и к непонятым образом угасшему творчеству, и, в сущности, к самой жизни его.

В потускневшей, будто опавшей душе его не нашлось укоризн. Глаза приглушила печаль. Многие годы встречал он отовсюду одно равнодушие и пытался привыкнуть, притерпеться к нему, и уже по привычке, что никто не понимал и не знал и не подозревал его тоскующей драмы, и терпеливо таил свою драму в себе, плотнее натягивая равнодушную маску, чтобы никто не заглядывал под неё любопытным, равнодушным, непонимающим взглядом.

Даже если бы кто-нибудь понял его, всё равно никто бы ему не помог.

Никто другой не переживет, никто другой не осмыслит, никто другой не осилит за нас наших драм. Всё свое сделай сам, это и есть твоя жизнь, иначе не за что ухватиться в себе и не за что себя уважать.

Старик потянулся за новой сигарой.

Оказалось, он всё ещё держал в руке том сочинений Жана Жака Руссо, и страница всё ещё была заложена пальцем.

Он медленно раскрыл то же место, словно и не было перед тем ничего, и взглянул рассеянно дальше, почти одними глазами, не думая над тем, что читал:

«Несмотря на репутацию мизантропа, которую мой внешний вид и несколько удачно сказанных слов мне создали в свете, нет сомнения, что в своем кругу я плохо выдерживал роль: мои друзья и близкие знакомые водили этого дикого медведя, как ягненка, и, ограничивая свои сарказмы горькими, но общими истинами, я никогда не мог сказать кому бы то ни было ни одного обидного слова...»

А он, спору нет, бывал слишком резок, может быть, зол иногда. Не одно, не два обидные слова достались от него Старику, в сущности, бестолковому, безобидному болтуну. Такие вещи с ним приключались не раз. Он не научился по-настоящему сдержанности... сарказмов, иронии хватало в избытке...

Он закрыл книгу, аккуратно вставил на прежнее место, чуть раздвинув соседние корешки, подровнял, слегка постукивая по ним, прошел к дивану, не глядя на Старика, и

устроился в уголке, откинув голову, полуприкрыв больные глаза, с немым вниманием разглядывая темную фигуру обнаженной греческой нимфы, пристроенную над книгами, и минут через пять взгляд его снова сделался потускневшим, сонливым, как и должно было быть.

Он овладел собой и продолжал размышлять.

Всё шло, должно быть, оттуда, издалека. Жизнь вообще на драмы щедра. Большею частью, это не великие драмы Шекспира, которые сметают в могилу виноватых и правых. Великие драмы приключаются редко. Жизнь не скупится на мелкие, повседневные, пошлые драмы. Безбедные, сытые спорят подолгу. Одни твердят, что драмы возвышают. Другие им возражают, что драмы калечат. Калечат, конечно, и, может быть, возвышают. Но калечат прежде всего.

Для чего он сказал Старику про загадку?

Его загадка слишком проста.

Глаза его так и раскрылись: не сказал ли он этого вслух?

Кажется, нет, не сказал. Старик, привольно раскинувшись в кресле, округляя старательно рот, пускал ровные синеватые кольца тонкого сигарного дыма. Поднимаясь одно за другим к потолку, они становились всё больше и нехотя таяли в прокуренном воздухе, почти не приметно, неуловимо сливаясь с ним, образуя туман. Нетрудно было понять, что Старика не донимали вопросы, когда, почему и зачем. Да и какие вопросы: у Старика ни рукописей, ни корректур на праздном столе.

Он всполошился, почудилось, что он куда-то давно опоздал. Он тревожно спросил:

– Позвольте, нынче какое число?

Пронзив кольца острой струей, Старик ответил с недоверчивым видом:

– Двадцать восьмое, а что?

Он опомнился и негромко сказал:

– Благодарю.

И подумал в сердцах:

«Спроси ещё имя свое и валяй служить на диване...»

Снова припомнилось детство и с горьким упреком спросило его, что он сделал с собой и что обстоятельства сделали с ним. Получалось неясно и больно. Он чувствовал, что к нему подступает хандра.

Тут спасли его долгожданные каблуки. Он за три комнаты уловил их легкую дробь и, достав гребешок, пригладил остатки светлых волос.

Дверь с размаху открылась во всю ширину, он уже поднимался навстречу, и Старушка с порога весело крикнула им:

– Молчуны, обедать, обедать!

## Глава двенадцатая

### Обед и после обеда

Он проверил все пуговицы на борту сюртука, подтянулся и подал ей руку.

Она с галантной улыбкой оперлась на неё.

Старик, ворча себе под нос, поплелся за ними.

Они расселись вокруг большого стола и принялись за еду. Он сидел напротив неё, часто опуская глаза. Вот её тонкие пальцы держали вилку и нож. Вот передвигали тарелки. Вот накладывали мясо и зелень. Вот подливали вино. Вот застывали на скатерти. Вот брали хлеб. Вот сильно и нервно сминали салфетку. Гибкие, узкие, нежные, чуткие женские руки.

Смотреть подолгу он позволял себе только на них.

Старик в полном молчании пережевывал большие куски, хватая их жаждущим ртом, блестя жиром на подбородке, на губах, на носу.

У него же, должно быть, от застарелой усталости, пропал аппетит. Иван Александрович, скорее повинувшись необходимости поддержать свои силы, выпил чашку бульона и нехотя проглотил кусочек зажаренного цыпленка.

Старушка, следя за ним с материнским вниманием, тотчас указала на сочный, дымящийся, пахнувший приправами ростбиф.

Он вежливо отказался от слишком тяжелого мяса.

Она спросила с тревогой:

– Что, опять ваша печень?

Её дружеское участие коснулось одинокой груди горячей волной. Он с благодарностью посмотрел на неё и, усиливаясь казаться беспечным, ответил:

– Так, ничего.

Она упрекнула, окидывая его придиричивым взглядом:

– Когда вы начнете лечиться?

Беспомощно улыбаясь, он с насмешливой грустью спросил:

– Кого же лечат от старости?

Она звонко расхохоталась:

– Как несносно вы любите комплименты!

Он отозвался с обычной своей меланхолией:

– Ещё больше я люблю правду.

Её большие глаза просияли лукавством:

– Больше тридцати восьми вам не дашь.

Он поправил, коснувшись обнаженного темени:

– Стукнет вот-вот сорок пять.

Она засмеялась:

– Совершенный старик.

Тогда он попросил:

– Давайте это оставим.

Она согласилась поспешно, виновато опуская глаза:

– Да, в самом деле, оставим.

И спросила, избегая смотреть на него:

– Кофе станем пить здесь?

Ей ответил Старик, обтирая салфеткой щеки и рот:

– Я полагаю, лучше в гостиной.

В гостиной, с чашкой в руке, Иван Александрович приткнулся в угол дивана.

Старушка вскоре под села к нему:

– Вы сердитесь, но я не хотела вас обижать.

Неожиданно для себя он ответил своим настоящим теплым искренним голосом:

– Я не сержусь.

Она тронула его ослабевшую руку:

– Хотела показать вас нашему доктору.

Он попросил, поспешно пряча глаза:

– Лучше сыграйте.

Она крепче сжала его ставшую совершенно беспомощной руку:

– Вы обещаете?

Он вздохнул:

– Хорошо.

Она смутилась этим словом, коротким и тихим, как клятва, и встала, отводя от него блеснувшие словно бы нежно глаза.

Он пересел в кресло, стоявшее против открытых дверей.

Она скользнула в маленький зал и села за фортепьяно.

Лицо его точно помолодело. Восхищенно и неотступно следил он за ней. На душе было грустно, тревожно, светло.

На хрупкой высокой подставке за фортепьяно одиноко горела свеча, напоминая ночной огонек где-нибудь в дальней дороге, в степи.

Видя только её прямой силуэт, от которого веяло жизнью и тайной, он боялся пошевелиться, боялся разрушить обаяние этой сильной расцветающей жизни и эту сердечную тайну тоже страшился спугнуть.

Он ждал.

Она сидела ещё, поникнув гладко причесанной головой, опустив на колени напряженные тонки руки.

Старик тоже смотрел на неё от дальней стены сквозь растущее облако табачного дыма.

Иван Александрович застыл в своем кресле. Движение, шорох, посторонняя мысль представлялись ему святотатством. Он уже чувствовал всем своим существом, что музыка наполнила её, что только миг, один единственный миг...

Её тонкие руки взлетели. Её осторожные верные пальцы слабо тронули пожелтевшие клавиши, и в ответ застонали, заплакали в сером сумраке горькие струны.

Она всё поняла, решительно всё. Она тихонько шептала ему:

«Ты устал, ты бесконечно устал, и ты одинок, и никто не понимает тебя...»

Со стеснившейся грудью, с неровным дыханием, склонив голову, охватив похолодевшими пальцами лоб, он поспешно спрятал лицо, ожившее, побледневшее вдруг.

Она же ударила сильно и быстро, и, жалобно охнув, обнаженные струны задрожали в ответ:

– «Твоя боль, твое разбитое сердце. Слезы отчаянья, приступившие к горлу. Проклятая слабость, валящая с ног...»

Он вовсе забыл про лицо. Равнодушие с него тотчас пропало. Лицо медленно, медленно таяло. Лицо делалось непривычным и странным, точно он был не одет. На нем явственно проступали следы прежде скрываемых мук, и в звериной тоске потемнели голубые глаза, открывшись совсем, но тотчас сделавшись меньше. И было в душе одно то, что играла она, что этими умными, верными звуками неудержимо вызывалось наружу.

А она, словно дав ему оплакать щемящую слабость, уверенно искала в его расслабленной, обмякшей душе что-то иное, что бы омыло, встряхнуло, освежило её, и в её тонких девических пальцах пробудилось упорное мужество, и её пальцы властно говорили ему:

«Ты сильный, ты стойкий, ты дерзновенный. Скинь свою худую усталость, забудь тревоги, болезнь. Путь твой не кончен, твой путь только начат. Что за старость в сорок пять лет? Ты жив! Ты ещё будешь жить!»

Он верил ей, верил. Все силы души поднимались и порывались вперед. Он ощущал, как у него подбирались дряблые щеки, стиснулись шаткие зубы, набухли желваки челюстей. Он готов был подняться, готов идти и дерзать. Он бы хотел, чтобы рядом с ним шла она и чаще напоминала о мужестве одинокого путника. Вдвоем они стали бы втрое сильней.

А музыка мчала и мчала вперед, и победным кликом отозвался последний удар и долго гас в тишине, словно таял в разреженном сумраке вечера.

Стало легко и стыдно и радостно жить, и губы невольно разжались, и он весь осветился блаженной улыбкой.

Старик поднял руку с дымящей сигарой и громко сказал в тишину:

– Спой нам “Чистую богиню”, Катишь, не пела давно.

Голова её задумчиво поднялась.

Иван Александрович увидел в рассеянной полутьме, как огромными стали большие глаза, которые затенялись густыми ресницами, и они казались матово-черными в свете свечи.

С мукой тоски начала она каватину. В каждом звуке слышался плач её истомленного сердца. Она точно изнемогала под тяжестью страшной, пока не совсем разгаданной тайны, и обращалась к одинокой луне, однако он представлял, что она, совестясь и волнуясь, обращалась к нему.

От звуков, от слов, от сильного верного женского голоса сердце билось тревожно, нервы дрожали, в глазах стояли сладкие слезы, в груди подступали рыдания счастья и боли, давил страх, возвратившийся страх за неё.

Стискивая поручни кресла, он страстно твердил про себя:

«Неужто она догадалась? Неужто она поняла? Ведь не может же этого быть! Какая женщина, какая душа! И должна быть мне чужой! И должна быть несчастна с другим!»

В прихожей он мялся, долго влезая в шинель, неуклюже тыча ноги в галоши, притопывая, вертя с обреченным видом шляпу в руке.

Сухой воздух так и ударил в лицо. Над черными крышами поднималась луна, неполная, желтая, точно больная.

Иван Александрович ёжился, прятал уши в поднятый воротник и без смысла кружил по пустынным, обезлюдевшим улицам. Стая бродячих собак увязалась за ним, трусливо ворча. Он вздрагивал и взмахивал палкой.

Опомнился наконец и воротился в свое одиночество.

## Глава тринадцатая

### Как жить?

Густой храп раздавался на лестнице. Дверь оказалась не заперта. В кабинете было темно. Порывшись в карманах, достав свои спички, засветил он свечу. Было так тихо, точно умерло всё, и пламя свечи не дрожало, слабым немигающим светом высветив круг, не достигая углов, и комната казалась тесной, пустой.

Сбросив сюртук, опустившись в низкое кресло, Иван Александрович понемногу возвратился к своим наблюдениям, анализировал их, добиваясь понять, могла ли она догадаться, и вскоре задумался о себе.

Казалось, он знал уже всё, что было с ним и что ещё могло быть.

Сорок пять лет...

Он не имел ни призвания, ни жены, ни детей, ни ответной любви, и было бы очень уж глупо надеяться, что эти радости так и ждут его впереди.

Один честно исполненный долг.

Не слишком ли мало?

В сущности, ему нечего делать на грешной земле, нечем и не за чем жить.

Преодоление, труд и борьба...

Всё это верные, но отчего-то пустые слова. Правду ли заслуживает наименование долга это казенное малое дело, за которым черствеет душа? Не видимость ли, не обман ли, не пустота? И если это не долг, то где отыскать другую обязанность, что иное наложить на себя? Без долга обращаешься неминуемо в эгоиста. Не плестись же общей дорогой, без болезненных дум, раздражающих помыслов, без гнетущей тоски?

Музыка в нервах всё ещё грела чуть различимым теплом, и не хотелось думать ни о проторенных дорогах, ни о мелких, ни о крупных делах, ни о осточертевших обязанностях, ни о том, что грубо ошибся, выбирая жизненный путь, но именно об этом он думал часто, думал всегда, думал с презрением, с завистью, с брезгливым злорадством и не думать не мог.

Общая колея...

От этих двух слов мысли забились, задвигались, гневно и тяжело. Он дернулся весь, брезгливо поджав длинный рот.

Под именем долга они умели занять пустое, однако почетное, вожделенное место, которое давало им всё, и всего у них было в избытке. Исполненный долг, как они понимали его, давал им большие права, и они без оглядки крали и брали, чтобы тратить без счета, жить без забот. В состав их обязанностей не входили ни труд, ни одоление, ни борьба, и они наслаждались без меры, совершали моцион в дорогих экипажах, украшали парижскими модами Невский проспект, бельэтажи театров, простор танцевальных зал, а летом придавали живописность дачным местам. Они на европейских курортах лечились от чрезмерного аппетита и безмятежного сна. Свою скуку разгоняли они по Италии, Германии, Франции, окунались в море и в целебные ванны, поправляли нервы, измотанные бездельем, сытным меню и хлопотами о модных безделках. Они с безразличным видом бродили в залах музеев, зевали под сводами готических див, переваливались с пуховиков на перины, транжирили время и жизнь, засыпали с радостной мыслью, что не надо ломать головы, чем заполнить длинейшую вереницу бесцельных часов. Они не метались между нуждой и призванием, между призванием и нуждой, не размышляли, как добиться в своей жизни разумной гармонии, смягчив сухость долга и не пресытившись наслаждением, не знали тоски по неумолимо уходящему времени, не скрипели зубами при мысли о неисполненных замыслах и о том, что гармония не достигнута,

а жизнь кружится и бредет не туда. Нет, в их опустошенной, безответственной жизни всё сбывалось своей чередой. Они бесстыдно владели всем тем, что было необходимо ему.

Ему бы независимость состояния, ему бы свободу от будничных дрязг. Он имел бы досуги, он бы в праздники творчества обратил свои дни.

Одно смущало его: творчество он почитал наслаждением, а в чем бы тогда состоял его долг?

Однако это был голос рассудка, а чувство твердило ему, что это он нуждался в длительных путешествиях, которые лучше всех докторов излечивают в долгодневных трудах истощенные нервы. Это он должен был видеть нетленное чудо Венеции, Лондона, Рима, снежные пики Швейцарии, жемчужные лагуны южных морей, видеть не в качестве секретаря адмирала и учителя гардемарин на фрегате “Паллада”, а вольным фланером, который идет куда хочет и стоим там, где ему любопытно стоять. Это он имел полное права пользоваться счастьем свободы и радостью безмятежного отдыха, потому что заслужил свободу и радость не чином, не местом, которые они занимали по случаю, а сущими муками созидания, и ещё потому, что свобода и отдых рождают новое вдохновение, которое превращается в новый творческий труд.

Рассудок было напомнил ему, что творчество – это не труд и по этой причине не может иметь никаких особенных прав, однако против рассудка восставало всё его существо, в нем громко говорило сознание, что он, имея в голове два громадных романа, лишен был всего, что необходимо, чтобы их завершить, а Город многие годы манил на каждом шагу, соблазнял и шептал:

– Ты смотри: вот роскошь, золото, женщины, упряжки кровных коней, и я отдаю всё это шутам, подлецам и холопам, я награждаю бесчестье, предательство, лож. Ты смотри! Не смей отвернуться! Погибни или возьми!

Он смотрел, но не брал за ту цену. В сорок пять лет он сделался стариком, чтобы, неутю- мимо и честно трудясь, безукоризненно исполняя малейшую обязанность службы, получить всего лишь неизбежное, необходимое для поддержания жизни. Он все свои замыслы должен был отложить, лишь бы иметь эти жалкие крохи, которых не лишен и последний из домашних скотов.

И растрочена жизнь, как ни утешай себя тем, что исполнил свой долг и благодаря этому не сделался ни вором, ни эгоистом, ни подлецом. И осталось несколько клочков от романов. И сомнение, сомнение в том, верно ли, разумно ли жил.

Всё разбито, раздавлено, растоптано в нем. Всё высокое, светлое, чистое, без чего жизнь, обюзившись, сведясь на одно, утратив свою полноту, становится бесцветным, глухим прозябанием, затиснуто в дальний запущенный угол крепко сжатой души, возмущенно клокочет, истерзанно бьется, прорываясь временами наружу, и всякий день обжигает своей безысходно- стью беззащитную грудь.

Казалось, его совесть могла быть чиста, он не сидел сложа рук и не кормился чужими трудами, но он успокоиться на этом не мог, он хотел жить и чувствовал отвращение к своему бытию.

Почему?!..

Неожиданно громко треснул фитиль нагоревшей свечи.

Иван Александрович вздрогнул, подался вперед и взглянул на живой огонек.

От близкого света защипало, заломило большие глаза, в ячмене закололи острые иглы.

Он поднялся устало, разделся с трудом,дохнул на острое пламя и нехотя лег.

Жизнь завелась как будто разумно, соединяя службу и, пусть немногие, интересы чув- ства, ума, но он был противен себе, и ему не удавалось заснуть.

Он лежал, лежал, лежал в неподвижной глухой тишине, комок немого отчаянья, отсто- явшейся мудрости, мучительной злости и неизжитых кипучих страстей. Он словно бы слышал неугомонный лепет карманных часов, лежавших на столике: они считали секунды, равнодушно

спеша. И он умолял, закусив отчаянно губы, зажав беспомощный рот дрожащей рукой, чтобы не разрыдаться навзрыд:

«Не думай, не думай, не надо думать о том, что вернуть невозможно, чего нельзя изменить...»

Однако в нем наболело, нарвало, намыкалось, и черные мысли не находили преград в немой тишине, и они, упрямо и злобно, как стаи бездомных собак, продолжали ворчать, что жизнь испорчена своими руками и что теперь стало не за чем жить, потому что никогда, ни за что не вырваться из этого омута службы, никуда от неё не уйти.

И когда, в какой роковой невозвратимый решающий миг он свернул с прямой дороги в это болото?

И что искать, идти куда и зачем?

Он чувствовал опытным сердцем своим, он угадывал, знал, он без причитаний беспокойного Никитенко и сонливого Старика прозревал, что страна в эти месяцы, в эти, может быть, дни начинала величайшую, грандиознейшую эпоху развития, какой не бывало после Петра, какой ещё долго не будет потом, и целый пласт народного, национального быта, нараставший стихийно, неслышно, неторопливо, из века в век, готов сдвинуться, повернуться и вдруг смениться неровным, рыхлым, непривычным, иным, который ожидался давно и который охватить одним взглядом и понять невозможно, а надо, необходимо охватить и понять.

Он понимал, отлично зная историю, что не всякому выпадает на долю такого рода смутные, неизведанные, однако же поворотные сдвиги. Он сомневаться не мог, что только такие переломы и смуты рождают Дон-Кихотов, Тартюфов и Гамлетов, что в такой поворотный момент талант безошибочно находит свой путь, а посредственность впадает в ничтожество. Не сумей, пропусти – и твоя жизнь протечет без следа.

А он пропускать не хотел. Он улавливал каким-то чутьем, как на гребне этого грозного мига с невероятной силой растёт его выжитый годами тоски, напоенный несбывшимся счастьем, поразительный замысел. Он знать не хотел и запрещал себе думать, случится ли то, что задумано им, с Дон-Кихота, Гамлета или Тартюфа, но именно эти головокружительные вершины мерещились ему в бессонных мечтах.

Главное, уже медлить было нельзя. Подходили сорок пять лет. Тускнели последние силы души и ума. Ещё год, ещё два, и ни за какие шиши не вернуть ни увядшую зрелость, ни пронесшийся гребень волны.

И эти последние силы надо бы было отдать, надо бы дни, недели и месяцы напролет напрягать до последних пределов, чтобы написать, завершить наконец свою, может быть, самую главную, настоящую книгу.

Но у него не имелось месяцев и недель, не имелось и трех совершенно ему самому предоставленных дней. И сила художника, и трезвость мыслителя, и энергия создателя жизни молча гибли, истощались и таяли, как в одиночной тюрьме.

Да полно, стоил ли долг, отчасти добровольно, отчасти невольно принятый им на себя, таких жертв?

Он вдруг застонал, очень жалобно, тихо. Он всхлипнул и заскулил, давясь закушенным ртом.

И между этими слабыми всхлипами легко и быстро стучали часы.

Их стук в тишине наконец образумил его. Он испугался, уж не обезумел ли он, и побледнел.

Спасительная насмешка охладила его:

«Ты бы ещё часок поревел... как сопливый мальчишка... очень прилично... в сорок пять лет... или хоть по Невскому пробежал... без штанов...»

Слава Богу, он не спятил с ума от сознания обреченности, даже по-настоящему разрыдаться не дал себе. Вот поспать не придется: ему не уснуть, и не стоило держать закрытыми больные глаза.

Федор с вечера дернул шнурок, однако затворил только форточку с улицы, а комнатную оставил открытой, и штора зацепилась за створку, но Федор, должно быть, не обернулся, не посмотрел и ушел, лишь бы поскорей отвязаться от дела, или поленился воротиться и завесить окно, и теперь в мертвенно-синем стекле торчал льдистый кусок посветлевшей луны.

Иван Александрович заторопился к спасительным будничным мыслям, лишь бы подальше уйти от неразрешимых и потому неразумных размышлений о том, как ему жить:

«Федору надо сказать...»

Подумал и ухмыльнулся беззлобно, передразнивая своего дурака:

– Уж до скольких разов говорил...

Он приподнялся, расправил под собой простыню, взбил повыше подушку и снова прилег, не прикрыв одеялом обнаженную грудь, чтобы подзябнуть слегка, согреться потом и, может быть, всё же заснуть.

Однако вновь, помешав простым мыслям не позволяя отвлечься, назойливо привязалась одна обидная, горькая, враждебная мысль, возбужденная вечерними наблюдениями над Стариком, а следовательно, и над собой.

Он уж знал, что эта мысль не отвяжется от него, если вовремя не отбросить её, и на всю ночь не оставит в покое, терзать же и мучить себя понапрасну несколько не улыбалось ему, и он, защищаясь, привычно её отстранил и с этой целью принялся глядеть в потолок.

Потолок едва проступал в копошившейся тьме. Сбоку, почти над самой его головой, висела большая связка тростей, которые он собирал, скитаясь по белому свету. Трости были прилажены на двух деревянных кронштейнах, вделанных по его приказанию в стену. С подушки не было видно этих полированных, покрытых коричневым лаком угольников, но он знал, что они были там, и настойчиво припоминал, как выглядела каждая трость, какие достоинства бросались в глаза, пока выбирал, какие недостатки обнаружились при домашнем осмотре, где купил, в какой стране, в каком магазине, кто был хозяин, хорошо ли говорил по-английски, сколько пришлось заплатить, если перевести на рубли.

Одна была с потаенным кинжалом. Ею соблазнился он ещё в Лондоне и протащил с собой кругом света. Английские магазины подобны музеям. Обилие, роскошь, вкус и раскладка товаров поражали его до уныния, свезенное со всего света богатство подавляло воображение. Он спрашивал поминутно, кто и где покупатели этих богатств, заглядывая и побаиваясь войти в эти мраморные, малахитовые, хрустальные и бронзовые чертоги, перед которыми казалась детской сказкой шехерезада. Перед четырехаршинными зеркальными стеклами он простаивал по целым часам, вглядываясь в кучи тканей, фарфора, серебра и драгоценных камней. На большей части товаров были обозначены цены, и он, приметив доступную цифру, не мог не войти и чего-нибудь не купить, после каждой прогулки возвращаясь домой с набитыми всяким вздором карманами. Так приобрел он и кинжальную трость. Для чего? Кого собирался тайно убить? Никого.

Рассеивая, отгоняя темные мысли, воспоминания всё дальше и дальше увлекали его. Один английский торговец в Гонконге, державший лавку отличных китайских вещей, не вспоминался, как он ни терзал свою память.

Он помнил невыносимый солнечный жар, от которого некуда было деваться, и горячий пот под мышками и на спине, несмотря на простор помещения, помнил, как веселый Посыет брал на пробу манильских черут и платил по тридцать копеек за чай, который стоил у нас рублей по пяти, помнил, что хозяин был светло-рыжим, однако говор, лицо и костюм совершенно забыл.

И он старательно представлял, как улыбался Посъет, разглядывая черных китайских божков, надеясь в цепочке своих впечатлений внезапно поймать какое-то слово, жест, поворот головы, которые непременно встряхнут в памяти всё остальное, но связь прерывалась запретными мыслями, как в притче о белом медведе, они проступали сквозь мышиную возню его памяти, как проступает снизу вода, сочлились то после жара, то после манильских черут.

Он ещё и ещё раз наваливал на них старый хлам, рассчитывая их придушить. Он отнекивался от них, как умел, чтобы по крайней мере выиграть время, необходимое для того, чтобы подготовиться хладнокровно анализировать их, раз уж им приспичило напасть на него, одолев все преграды, нагроможденные им. Пусть приходят, когда он упокоится и будет готов.

А пока, не припомнив ни лицо, ни речь купца из Гонконга, он перескочил на другое, сердито подумав о том, что с Федором придется расстаться, отметив, что не столько сердит, сколько принуждает себя рассердиться.

Это показалось ему любопытным. Он пустился искать, каков причина столь странного расположения чувств, и вскоре нашел, что к увальню своему он привык и что Федор даже симпатичен ему.

Озадаченный, не понимая, что же ему предпринять, он попугал себя незапертой дверью, вполне убедительно рассудив, что в пьяном виде это слишком большое дитя когда-нибудь подожжет или впустит в квартиру воров, и с не меньшей убедительностью напомнил себе, что трезвых слуг не бывает, а Федор по крайней мере простодушен и добр, из чего неминуемо следовал вывод, что, может быть, лучше ещё потерпеть, до той последней возможности, пока Федор не сотворит какой-нибудь уж вовсе не поправимой беды.

Да, в самом деле, надо терпеть...

Стерпеть всё подряд...

Стерпеть даже то...

Тут он резко себя оборвал, находя, что всё ещё не готов во всеоружии встретить опасные мысли, бог с ними, пусть тоже потерпят, пусть подождут.

На худой конец он станет неторопливо и долго пить чай, если в ближайшие полчаса не удастся уснуть.

Как раз две недели назад, перед самым корректурным запоем, он взял у Елисеева фунт по четыре рубля. Федор, неизменно употреблявший всё то, что оставалось от ужина, чаю и кофе, на его счастье, не пил. Следовательно, найдется что заварить, а самовар он поставит и сам, не будить же того, пускай себе дрыхнет, бог с ним.

Он рассеялся, и на память зачем-то пришли философские наставления, которые в любознательной юности сотнями вытверживал наизусть:

«Тогда только свобода, составляющая стихию бытия человеческого, есть истинная свобода, достойная разумно-нравственных существ, а не капризное своеволие, когда она сама из себя, не по рабскому инстинкту, но по благородному самоотвержению, добровольно подчиняет себя вечным законам мудрой природы. Сие благоговейное самоподчинение должно составлять высочайшее достоинство гения, как любимого первенца природы и свободы в действиях разума...»

Ну, никаким первенцем он себя не считал, подобное заблуждение не коснулось его, однако он остался доволен, что пришла на ум именно эта философская мысль.

Лучше уж философствовать, чем тоскливо выть на луну, нет вернее лекарства для захворавшей души.

Общее впечатление, какое произвел на него наружный вид Лондона и тех стран, где ощущалось владычество англичан, а оно ощущалось везде, было странно: он не заметил там жизни. Повсюду была торговля видна, а не жизнь, да и сама торговля резко не бросалась в глаза. Только по итогам, по цифрам делался вывод, что Лондон первая в мире столица, а Капштат на таком месте, а Сингапур и Гонконг на таком, когда по этим цифрам сочтешь, сколько громадных

капиталов обращается в день или в год. Он только ахал от изумления, но ничего не видел лазами, такая господствовала кругом тишина, так все физиологические отправления общественной жизни совершались стройно и чинно. Кроме неизбежного шума колес, другого он почти не слышал. Город как живое существо, казалось, сдерживал дыханье, сдерживал биение пульса. Не было ни напрасного крика, ни лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости мало слышно даже между детьми. Всё было рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики тоже принимается пошлина, как с окон и шин. Экипажи мчались во всю прыть, но кучера не кричали, да и прохожие никогда не зевали. Пешеходы не толкались, в народе не замечалось ни ссор, ни драк, ни пьяных на улице, хотя, по его наблюдениям, почти каждый англичанин напивался во время обеда. Все спешили, бежали, ни одной беззаботной, ленивой фигуры.

Словом, торговля – это рассудок, расчет, а не жизнь, обращение капитала, обмен не чувствами, а товарами, приход и расход.

Как в службе: обязанности рассчитаны, приказы обращаются, обмен бумаг входящих и бумаг исходящих, нынче одни корректуры, назавтра другие, а жизни-то – жизни и нет.

Вот подчинил он себя течению этих мудрейших законов, и что?

Жизнь ушла.

И была, и казалось, что никогда не уйдет.

И он с грустью, с привычной насмешкой зрелого мужа припомнил веселую юность, когда был усердным студентом, с немым восхищеньем внимал каждому слову Надеждина и, разумеется, был смешно и пылко влюблен.

Он был добрым, доверчивым, восторженным мальчиком и многие вечера, краснея, вздыхая, проводил у неподражаемой Марьи Дмитриевны Львовой-Синецкой.

Он сделал пониже подушку и завернулся поплотней в одеяло, надеясь согреться и задремать, не противясь капризам своей легконогой фантазии, забежавшей так далеко, и фантазия, вырвавшись беспечно на волю, развернулась во всю свою ширь.

Он увидел себя как живого: взбитые светлые кудри на гордо вздернутой, возбужденной, кружившейся голове, стройная, легкая, гибкая талия, модный фрак без единой морщинки, перчатки белейшие, прекрасно облегавшие небольшие изящные руки, восторженно-непреклонная вера в спасительную святость упоительного искусства и прочих наук в пылавших жаром синих глазах, неутолимая жажда бессмертной любви в закружившемся, глупом, чрезмерно отзывчивом сердце, огромный букет белых и алых до того свежих роз, что влага таилась в полураскрывшихся лепестках.

Он так удивился, что в самом деле был когда-то таким, и в тускневшей, засыпавшей уже голове проползло:

«Кто бы подумал... вот...»

Через двадцать пять лет превратился в угрюмого нелюдима.

Добровольно ли? По благородному ли самоотвержению? Из подчинения ли вечным законам мудрой природы? По милости ли сурового гражданского долга?

Однако ж и тот беспечный молодой человек, хорош ли он был?

Пожалуй, замечалась искренность в чувствах и мыслях, но обнаруживал одни достоинства в каждом, кого знал, с кем говорил, а скрытых пороков угадывать не умел.

Феноменальный был, должно быть, болван. Слава Богу, потом... поумнел... А глупенькими восторгами будто бы жизни, а на поверку вышло, так сплошной чепухи, бескорыстно и щедро поделился с таким же дураком Александром... и был доволен, до сухого блеска в глазах, что вытряхнул эту дикую, эту пошлую галиматью из себя... чтобы жить, а не витать... в облаках...

Да вот не потерял ли при этом чего... то есть не потерял ли жизни самой?..

Скажем, что за причина, что до слез одиноко ему?..

Все-таки не стал, как другие, не затиснулся в общую колею... но не по доброй воле принял на себя... эту муку...

Он встрепенулся и привстал на горячей постели. Сон, подступавший первой теплой волной, так и слетел. Он таращил глаза.

Нет, он не делал, он не должен был думать об это и попробовал сходу ухватиться за что-нибудь, хоть за сигары, которые что-то дешево обошлись Старикку, и тут же представил себе, как завтра непременно заглянет в магазин Елисеева.

Елисеев знал его хорошо, уважал в особенности за то, что свой брат, не барин, происходил из купцов, и непременно, заслыша от кого-нибудь из приказчиков, воспитанных в правилах тонкого галантерейного обхождения, его имя, сам выходил с поклоном навстречу в смазных сапогах и толстой суконной поддевке, пряча улыбку в кольца запущенной бороды, внимательно глядя в лицо, справляясь почтительно о здоровье, угадывая и предупреждая желанья.

Но, очевидно, он слишком и надолго устал. Вертлявые зябкие мысли плохо повиновались ему, то и дело возвращаясь к больному, к чуткому месту.

Был ли он в глазах Елисеева человеком? Или был только мифом, то есть сыном купца?

Он даже плюнул в сердцах и плотней завернулся в пуховое одеяло, осторожно прикрыл напухшие веки и решился непременно, всенепременно уснуть.

В мягком почти невесомом тепле ласково согревалось бессильное тело, наполняясь приятно баюкавшей вялостью, однако и уютная вялость почти не помогала ему. В беспокойном сознании всё разрасталась, разрасталась тягучая боль, мысль продолжала трудиться с напряженной угрюмостью, растравляя душу стыдом и за то, что сделал, и за то, чего не сделал с собой, натруженная воля к ночи совсем слабела, и колючие подозрения, как шулера, скользили в обход.

Вдруг показалось, что он плохо или вовсе не знает себя. По его задушевному понятиям, в зрелом возрасте подобное упущение было непростительным и смешным, и он недовольно спросил, что бы могло остаться неизвестным ему о себе.

В уме, запутанном и бессильном, не нашлось никакого ответа, однако в тревожной душе становилось сильней и сильней чувство закоснелой вины, точно он совершил преступление или был уличен в непростимом грехе.

Надо было бы вновь отмахнуться от смутного чувства, тотчас забыть все обидные выкладки, но он, потеряв осторожность, подумал с тоской, что никакой вины за ним нет да не может и быть, не должно.

И перекатился на правый бок, сворачиваясь удобней, подтягивая колени к груди. При этом больное веко зацепилось за угол подушки. В голове зазвенело. Он затаился, не двигаясь больше.

Скованный неподвижностью, с несмолкаемой ноющей болью, раздраженный невозможностью спать, он окончательно выпустил нервы из рук, и чувство вины нарастало. Он и не верил этому чувству, и вновь придиричиво проглядывал прошлое, но ничего предосудительного не находил, и это в особенности настораживало его.

Что же это такое, человек всегда виноват, перед Богом, если не перед собой и людьми, но он обнаруживал только, что всегда незаслуженно, много, одиноко страдал, а подлецы, казалось ему, не страдают.

Как прикажете понимать?

И тогда, раздраженный не поддающимся анализу чувством вины, этим затянувшимся, как он буркнул, самообманом, надоевшем, несносном ему, привыкшему мыслить отчетливо и обманывать то шутливо, то иронично других, если навязчиво, неделикатно норовили влезть в его душу, он вдруг спросил себя прямо в лоб, отчего он не пишет уже столько лет, почему бесплоден, внутренне пуст, почему картины и образы бесследно исчезают во тьме, не успев проясниться, а он не может и не всегда торопится их удерживать.

В самом ли деле он так состарился в сорок пять лет? В самом ли деле растратил душевные силы в горькой борьбе за квартиру и хлеб, в неукоснительном исполнении служебного долга? В самом ли деле заглох и закис, встречая непонимание и равнодушие близких? В самом ли деле смирился? В самом ли деле принял за нормальную жизнь изнурительный труд сличения всякого печатного слова с тупым и капризным цензурным уставом? В самом ли деле безвозвратно покорился судьбе?

Какой мог быть сон.

Приподнявшись, морщась от боли в боку и в глазу, он подоткнул под спину подушку и с досадой почесал некстати зачесавшийся нос.

Он презрительно усмехнулся. Кто бы мог опровергнуть, что времени после одолений и подвигов службы оставались какие-то жалкие крохи, однако по совести нельзя не признать, что он мог бы наеживать час или два, чтобы прикидывать к «Обломову» хотя бы несколько слов. Кто бы стал возражать, что года напоминают то печеню, то одышкой, однако у него ещё не было права признавать себя стариком, и умелая мысль продолжала работать непрерывно и трезво. Он, разумеется, вынужден был согласиться, что слишком много души и огня растратил в канцелярии и в житейской борьбе, однако он именно в канцелярии и в житейской борьбе закалил свою силу, познал повседневную, мелочную, почти неприметную жизнь и проник в её, часто зловещие, тайны, без чего никогда бы не написал ни строки. И кто бы решился после этого спорить, что он духовно созрел, что никакое одиночество его не сломило, что он не смирился, не покорился судьбе.

Он всё это утвердительно знал, он гордился в душе, что стоек и тверд, но его лучшая книга продолжала лежать без движения, в обрывках, в клочках, в отдалении от ненужных бумаг, которые целиком занимали если не чувство, то ум.

У него было вдоволь такого рода ответов, которые то утешали, то вызывали досаду и боль. Фантазия и холодная мысль рождали такие ответы один за другим. Прошедшее, которое он так пристально изучал, чтобы предвидеть, что его ждет впереди, выплывало живым, неожиданным, в странно-капризных изломах, изгибах, смещаясь, меняясь местами, подчиняясь какой-то неведомой вол, точно поклявшейся пристыдить и ободрить его.

Так из рдеющей тьмы вдруг появился учитель. Губы толстые на грубоватом простонародном лице. Низкий лоб под зачесанной на бок челкой волос. Большие глаза под крохотными стеклышками сильных очков. Застегнутый до самого подбородка сюртук, острые уголки бело-снежной сорочки и плотно замотанный шелковый шейный платок.

Надеждин привычно поднимался на кафедру, окинув одним пронзительным взором нетерпеливо ожидавшие переполненные скамьи, понурившись тотчас, осев, прикрыв глаза воспаленными веками, с несчастным лицом, начинал импровизировать философию творчества и просвещения, мерно качаясь, точно пристально глядя в себя, насыщая слова свои болью и гневом, проповедуя вместо урочного часа два или три, позабывши о будничном мире, не слыша звонка, не прерываемый никогда ни одним из притихших студентов.

Он расслышал издали долетавший глуховатый взволнованный голос:

– Без сосредоточенного напряжения всех наших сил могуществом твердой воли ни один шаг вперед не возможен. Опыты разных стран и разных веков подтверждают, что успех просвещения исходит из дружных общих усилий. Но у нас, напротив, во всех действиях замечается отсутствие сосредоточенности и напряжения. У нас, что бывает, то бывает порывами, отдельными выходками. Все мы действуем врозь. Происходит ли это от лености, свойственной жителям холодного севера, где природа наслаждается жизнью только урывками, проводя большую часть времени в смертном сне, под сугробами, или есть следствие временного застоя, решать не берусь. Мы отличаемся отходчивостью в замыслах, нерешительностью в средствах, незаконченностью в действиях. За что ни примемся, всё бросаем на половине, к чему ни привяжемся, разлюбим через минуту...

Слушая тихий шелестящий срывающийся голос, Иван Александрович думал, что человек, согласно законам природы, уходит, а лучшие мысли его остаются с другими.

И только ли мысли одни? Может быть, что-то ещё?

Надеждин ушел неприметно. О кончине страстного публициста, поколебавшего когда-то умы, промолчали газеты, о ней не узнали ни ученики, ни друзья, ни даже враги. Стояла середина суровой зимы. В промороженных улицах бесновалась метель, волны снега пробегали сильными струями в ущельях между домами, стоявшими в плотном строю. Три человека, пряча лица в поднятый воротник, шли поспешно за гробом того, кто был кумиром одного поколения.

О той печальной процессии ему рассказали позднее, и по прихоти памяти он слышал голос того, кто был мертв, однако в тех давних, точно бы отошедших словах по-прежнему таилось пророчество. Его и тогда, когда сидел в первом ряду, и ещё больше теперь, в бессонную ночь, тревожил неумолимый укоризненный смысл этих странно-решительных слов. Сам он так однозначно и наотрез рассуждать не умел. Ещё в те времена, на лекциях третьего курса, он внимательно и растерянно слушал, робея спросить, не в состоянии подойти к учителю ближе, страшась и желая более обстоятельных разъяснений.

И вот опять что-то враждебное, личное мерещилось в тех обличительных гневных речах, и он, точно спеша наверстать, что тогда пропустил, заговорил как с живым, и взволнованные слова прошелестели беззвучно:

– Вы, Николай Иванович, может быть, правы, то есть решительно правы, что только национальность дает писателю его колорит, его оригинальность и силу, чужое, то есть и самое лучшее в нем, способно всего лишь украсить, дополнить, а натура, именно натура-то и должна быть своя, родовая, из дальних, но властных, обильных криниц наших предков, и каждому суждено зачерпнуть из этого родника...

Он подумал, что всё это истинно так, что в неразрывной цепи поколений не бывает иначе, но тут же с испугом, печально спросил:

– А может, и у меня по-славянски нестойкая воля? Может быть, правду мне говорят, может быть, и во мне сидит хоть немного Ильи Ильича? Может быть, я слишком близко пришелся к национальному корню, оттого и не слажу с собой, отходчив от этого в замыслах, нерешителен в средствах, незакончен в поступках?.. Ведь я, без сомнения, русский...

Он так и впился глазами в окружающий сумрак. Он привстал, привалился боком к стене. Взгляд его что-то искал, о чем-то кричал. О помощи ли, о прощении ли был этот крик?

На ковре зеленела полоска лунного света. На столе громоздились бумаги. Одежда валялась на креслах.

Он задумался, силясь раз навсегда понять и решить. Нет, он не судил себя суровым судом своей совести: такой суд казался ему запоздалым или до времени, когда уже судят себя последним судом.

Скорее всего, размышлением он пытался смягчить, остудить в душе своей чувство вины.

Даже оказаться Обломовым он был бы искренне рад: тогда во всех его неудачах была бы виновата натура, и он мог бы спокойно уснуть, покорившись судьбе.

И он придиричиво проверял, ища отголосков, следов, хотя бы слабых намеков, и наконец с тоской облегченья сквозь зубы пробормотал:

– Халат и туфли, точно, обломовские.

Он уткнулся подбородком в распахнутый ворот. Охваченное отчаянием лицо подобралось, застыло. Глаза угрюмо глядели перед собой.

Он увидел родительский дом, куда только что воротился с дипломом и где охватило его домашнее баловство, все лица сияли от удовольствия видеть повзрослевшее чадо, предупредить молодое желание, любимые готовить блюда, выпекать пироги с любимой начинкой, придвигать любимое кресло, взбивать до потолка пуховики, оберегать от шума, от мух, от скрипа разохшихся половиц.

А он был проникнут проповедями Надеждина, готовый просвещать ненаглядную Русь, энергия юности хлестала в нем через край, в родимых местах ему было неприятно и тесно, Симбирск представлялся обленившимся захолустьем, нетронутой глушью, и он из родительского тепла, от перин, пирогов и пампушек, от бездельного, безмятежного бытия, под слезы стареющей маменьки, вырвался в Город, где жалованья не доставало на хлеб, на пару сапог и шинель.

Он поморщился, пожевал сухими губами, пробормотал:

– Пожалуй, что нет... Илье бы у маменьки было раздолье... Впрочем, Илья тоже отправился в Город... а маменька у него померла... об этом уж я постарался...

Голые ноги без промаха опустились в широкие туфли, которые носил он лишь перед сном и вставши от сна. Он привычно прошел в полутьме, взял сигару из полного ящика, который стол на положенном месте, ожидая его, взял не глядя серебряный коробок, тоже на своем месте ждавший его, с облегчением закурил, удобно запахнулся в старый испытанный кашемировый теплый халат и примостился в уютное кресло, поджав под себя одеялом согретые ноги, ощутив на минуту непривычный покой.

Что ж, натура натурой, однако на то нам Богом разум и дан, чтобы познать и, возделав, облагородить её, стало быть, человек просвещенный лишается того удобного права, которое позволяет сложить вину с воли и совести и переложить на кого-то или на что-то иное, к примеру, на общество или природу, всё, мол, они, я не при чем.

Нет, природу свою он возделывал непрестанно, и мысль продолжала работать сосредоточенно, пытаясь открыть ещё не возделанные поля. Воображение услужливо воскрешало дни и труды. Припоминались житейские испытания, которые он сам избирал, своей волей, отчетливо сознавая, что ожидало его. Перед внимательными прищуренными глазами копошились, часто меняясь, картины. Время приглушило, однако не тронуло их.

Он увидел себя в гостиной у Майковых. К обеду собрались самые близкие из друзей, и, когда подали кофе, он вдруг сообщил, между прочим, небрежно, как всегда сообщал, что через месяц-другой кругом света идет.

Шум поднялся неопишутый. Чем только не грозили ему? Как только не умоляли остаться? И что же? Да решительно ничего: он пошел кругом света, читал, сколько мог, великую книгу неведомых стран и морей и воротился живым.

Впрочем, одна Анна Павловна оказалась права: читать эту книгу досталось немалой ценой, особенно нескольких из последних страниц.

Он слегка улыбнулся, увидев себя на Аяне.

Узкая полоска песчаного берега. Отвесная стена угрюмых утесов за ней. На вершине десяток простых бревенчатых изб, американская торговая миссия и церквушка с прозрачным русским крестом на обветренной крохотной луковке.

Позади осталось долгое плаванье на старом фрегате, впереди лежало десять тысяч пятьсот верст сухого пути. Двести предстояло сделать верхом сквозь глухую тайгу по охотничьим тропам, шестьсот проплыть туземной лодкой по Мае, которая едва ли могла оказаться прочнее фрегата, сто восемьдесят снова верхом, и это лишь до Якутска, а какие там дальше пути, на Аяне знать не знал и думать не думал никто.

Таким образом, между ним и квартирой на Литейном проспекте лежали, взамен пройденных океанов соленой воды, океаны пресных болот, стремнин и снегов, мороз, тайга, невозделанная природа и невозделанные дети её, звери и – комары, которые, говорили, хуже зверей.

Сидя в нетопленном доме, он представлял себе эти десять тысяч пятьсот верст сухого пути, мечтая о том, чтобы этот путь каким-нибудь чудом усох, и поверить не мог, что он, коренной горожанин, человек исключительно кабинетный, одолеет эти тысячи верст болот и пустынь, да ещё и верхом, Боже мой!

Нет, он не был приготовлен для геркулесовых подвигов. Он вздыхал и брюзжал, полуплутливо, полусерьезно умолял устроить качалку, в каких тех местах благополучно таскали калек и древних старух, а когда его упрекали за слабость, какая не пристала мужчине, он без тени стыда возражал, что он ещё немощней старух и калек, уверяя, что не видит для себя никакого посярмления в том, чтобы болтаться беспомощным кулем между двух лошадей, были бы только лошади помирней.

Однако утром в день отправления, едва он вышел за дверь, ему подвели горячего молодого коня под черкесским седлом и подали узкое стремя, и он, по обыкновению тут же покорившись судьбе, взгромоздил на это седло все свои пять с половиной пудов, а вечером расшарсенные пять с половиной пудов едва стащили с конского верха, и он проспал до утра в дымной юрте, на лавке, покрытой волчьими шкурами, не раздеваясь, кое-как найдя силы стащить сапоги.

А потом, не прошло и трех дней, жалел только о том, что темная ночь не позволяла двигаться дальше. Еловые ветви хлестали его по лицу, привыкшему к душистому мылу. Колени обдирались о стволы старых сосен, теснивших тропу с обеих сторон. Ноги распухали от непривычки сидеть часами в седле или мокли, когда он вместе с конем проваливался в холодную воду. Конь то и дело увязал по самое брюхо в грязи. И ничего, натура оказалась возделанной лучше, чем он полагал, копаясь в себе на Литейном проспекте, и он с видом древнего стойка верил и мерил окаянные версты, посмеиваясь над своим пугливым брюзжанием и снова постариковски брюзжа.

Иван Александрович с наслаждением затянулся, озорно подмигнув:

– Пожалуй, совсем не Обломов, а?

Какой же Обломов, когда отмахал эти геркулесовы версты, одолел и мороз, и болота, и ненасытные полчища таежного гнуса, который в самом деле оказался пострашнее хищных зверей.

Не дай, разумеется, Бог, но он прошел бы их снова и снова, как можно подозревать себя в обломовщине, в непростительной лени?

Однако...

«Обломов» всё ещё не был написан.

И подвиг его путешествия показался чуть не смешным. Вновь беспокойно глядели глаза, лицо обмякло, сделалось грустным, губы горько, с недоумением сжались.

Он нервным неловким движением до боли стиснутых пальцев раздавил окурок сигары в пустой прокуренной пепельнице и засветил поспешно свечу, словно свеча могла бы чем-то помочь.

Настроение капризно менялось. Удлиненный язык красноватого пламени ночной полумрак отодвинул недалеко, внезапно обнажив тесноту кабинета, неуклюжую мебель, раздавленную постель.

Ему стало так неудобно. В собственном кабинете он ощутил себя посторонним, ненужным. Он точно должен был куда-то уйти. Он и поднялся, суетливо болтая руками, сделал три кривых шага к молчаливо глядевшим дверям, воротился, схватил подсвечник с одиноко мерцавшей свечей и, прикрывая огонь свернутой в ковшик ладонью, для чего-то заспешил в коридор и там, точно спеша избавиться от него, опустил подсвечник на самый край тонконового столика и принялся с потеряннм видом бродить, в ночной рубашке до пят, в распахнутом длинном халате чуть выше пят, в полотняном ночном колпаке, терзаемый мыслью о том, что «Обломов» всё ещё не был написан. В черном зеркале отражалась, сверкая, свеча, и когда он проходил мимо неё, взмахивая руками, двигая воздух полой, огонь часто и грозно мигал, на неясной серой стене свирепо прыгала чья-то черная тень, сгущая тревогу и мрак.

Что-то было... что-то мешало... что-то должно было быть, что оставалось недоделанным в нем. Он это что-то с непримиримым упорством искал и как будто нашупывал, находил это

неуловимое что-то, но тут же обнаруживал бесспорные оправдания, утверждавшие, что именно это что-то было не то, и принимался снова с остервенелым упорством искать. Ну, хорошо, думал он, может быть... не совсем уж... Обломов... однако нечто неповоротливое... медлительное... копотливое... все-таки есть...

Вот, скажем, люди, без которых так недавно ещё не умел прожить дня, его тяготили, и он посещал всё реже и реже самых близких друзей, о знакомых что говорить. Разве эта черта не роднила с Ильей? Да, в самом деле... но, может быть, он... узнал людей... чересчур хорошо... обнаружил нечто, сокрытое от других... себялюбие, например, праздномыслие, безответственность, сухость души... Правдоподобно весьма... но он вот замкнулся в себе... хотя те же друзья... и прежде... всё равно не понимали его, как он знал... Или ещё: его не занимали газетные новости, любопытства едва доставало... на одни объявления и курсы на биржах... однако о чем же это свойство могло говорить?.. Биржа – единственный барометр истинного положения дел, прочее так, лукавство, обман, болтай да болтай, бумага стерпит слова, а паденье рубля – это... обнаженная правда... стало быть, плохи дела... И объявления тоже... голос неприкрашенной жизни... если грабят, лишают достоинства, чести... так уж чего... порой сюжет на целую повесть, иной писатель по объявлениям мог бы писать...

Иван Александрович прислонился к стене, ненужно сдернул колпак с головы, смял и бросил на стол. Пламя упало, прижавшись к желтому воску, едва не погаснув совсем, однако удержалось на нитке, приподнялось и продолжало светить.

Он потер мелевшее темя, то место, где ныла и ныла томящая боль. Вот... избаловался, что говорить... дал волю капризам... изберег, излелеял тонкие нервы... не спал по ночам, если некстати вползали горькие мысли... или врывалась беспокойно жужжавшая муха... или голодный мышонок упорно скребся в пыльном углу... Он бежал от окна, если улавливал легчайшую струечку прохладного сквознячка, бранил дорогу в театр, если попадались ухабы, отказывался ехать на вечер, боясь пропустить привычный час отхода ко сну, и не без обиды стенал, если от супа припахивало дымком. Он частенько подремывал после обеда. Он любил помечтать ни о чем свободными вечерами, когда сладко курилась сигара и внезапные образы просто так, необременительно, понапрасну клубились в беспечном мозгу. Он давным-давно не надевал парадного фрака...

Он невольно тронул живот.

Едва ли эта жирная штука даже и влезет во фрак, сшитый, дай бог памяти, пять лет назад.

На него вдруг наскочило унылое озорство: со злым нетерпением захотелось непременно увидеть себя в шутовском одеянии.

В гардеробную он вломился с неуклюжей поспешностью, сбросил на пол халат, дернул створки тяжелого шкафа, в непроницаемой темноте, позабыв в коридоре свечу, определил фрак по шелковистому ворсу дорогого сукна, сорвал с английских плавно-пократистых плечиков, глумливо распялил на растопыренных пальцах, повертел во все стороны, строя шутовские гримасы, и прямо на смятую ночную рубаху напялил изящные черные крылья с двумя округлыми, как у рыбы, хвостами и в этом наряде вывалился из гардеробной, нарочно по-медвежьки косолапя ногами.

Кругом стискивало, жало, тянуло и морщилось, брюхо тыквой торчало наружу.

Куда-то спеша, он слишком близко присунулся к зеркалу, и лицо, освещенное снизу, исказили черные впадины, лоб обрезали тени бровей, нос провалился, а кончик его и подбровья страшно желтели, как воск.

Уродство смутило, испугало его, сердце болезненно сжалось, он растерянно засмеялся, заворожено уставясь на свой жуткий вид и скомороший наряд, и смех получился горький, жалкий, сухой.

Тогда он подхватил оплывший подсвечник, воротился, влача расслабленно ноги, к себе и прямо во фраке грузно плюхнулся в кресло, точно мстил своей преждевременной старости, своей неуклюжести, своей сырой полноте.

Боже мой, какие в нем силы жизни заглохли, перегорели бесплодно, какие силы ума!

Огромные силы!..

И что?..

Он сторбился, обхватил гудевшую голову и замер в тоске, и на поникшей спине черным горбом дыбился фрак, немилосердно мешавший ему.

Так хотелось кричать, и он повторял, истерзанно убеждая себя, что жизнь устроил разумно, что обработал натуру и выполнил долг, что остается плотнее стискивать поредевшие зубы, остается молчать и в ослабевшей душе отыскать ещё какую-то новую упрямую силу, что надо терпеть, что надо ждать, именно ждать, неизвестно чего.

И распрямился так же стремительно, и дрожащее лицо исказилось прозрением и внезапно прорвавшейся слабостью, непростительно одолевшей его.

В самом деле, разве он не делал полезного дела? Разве так уж легко, так бесплодно оно? Разве не требовало оно от него каждый день почти такой же дипломатической тонкости, какая была, может быть, у одного Потемкина, Панина, Талейрана?

Протянув руку, которая на ощупь искала сигару, он тотчас о сигаре забыл и рассеяно поглаживал крышку стола.

## Глава четырнадцатая У Вяземского

Громада огромного кабинета будто вновь давила его, высоко над головой парил лепной потолок, далеко в стороны разбегались покрытые панелями стены, весь угол был загорожен широким длинным, как волжская пристань, столом, а красное дерево тумб покрывала резьба, почти не различимая на расстоянии, однако изученная во время прежних приемов до последнего завитка. Здесь он чувствовал себя беззащитным и слабым.

Тем не менее, обнаружив давно, что такого рода золоченым парадом умело морочат головы бесчисленных дураков, предварительно сам обморочившись несколько раз, он шагнул и вежливо отдал аккуратный служебный поклон.

Почитав ещё две минуты, оторвавшись медлительно от бумаги, за столом возвысился, очень прямо и строго, князь Петр Андреевич Вяземский. Седая голова на синей обивке высоких вольтеровских кресел, едва ли прямо не из Ферне, такое зародиться могло подозрение, слабо пошевелилась в ответ, и сухой голос раздельно сказал:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.